



Н РИЧАРД
ОЛДИНГТОН

СМЕРТЬ ГЕРОЯ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Ричард Олдингтон

Смерть героя

«АСТ»

1929

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Олдингтон Р.

Смерть героя / Р. Олдингтон — «АСТ»,
1929 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

«Смерть героя» Олдингтона – книга, которая наряду с романами «Прощай, оружие!» Хемингуэя и «На западном фронте без перемен» Ремарка стала своеобразным манифестом «потерянного поколения». Работа над произведением заняла всего пятьдесят один день. Максим Горький назвал «Смерть героя» Олдингтона «злой, полной жуткого отчаяния» книгой, свидетельствующей об окончательном загнивании буржуазного мира. «Эта книга является надгробным плачем, – писал Олдингтон, – памятником, быть может, неискусным, поколению, которое горячо надеялось, боролось честно и страдало глубоко».

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© Олдингтон Р., 1929
© АСТ, 1929

Содержание

От автора	7
Пролог	8
Часть первая	23
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Ричард Олдингтон

Смерть героя

Richard Aldington
DEATH OF A HERO

Издается с разрешения The Estate of Richard Aldington c/o Rosica Colin Limited и литературного агентства Andrew Nurnberg.

© Richard Aldington 1929, 1965, 1993 and the Estate of Richard Aldington

© Перевод. Нора Галь, наследники, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

* * *

Смотрите, как мы развлекаемся!

Но когда же и повеселиться, как не в молодости: ведь живешь только раз, да еще в Англии; и то и другое не пустяк, от любой из этих бед можно поседеть в одночасье; потому что, да будет вам известно, нет на свете другой страны, где было бы так много старых дураков и так мало молодых.

Гораций Уолпол

ОЛКОТТУ ГЛОВЕРУ

Дорогой мой Ол! Памятуя о Джордже Муре, не терпевшем предисловий, все, что я хочу здесь сказать, я, пожалуй, лучше изложу в письме к тебе. Хоть ты и постарше меня, мы все же принадлежим к одному поколению – к тем, кто детство и отрочество свое, точно юный Самсон, провел в попытках разорвать путы викторианства и чье возмужание совпало с мировой войной. Многие множество наших сверстников унесла безвременная смерть. Нам повезло – а быть может, не повезло: мы уцелели.

Я начал эту книгу почти сразу же после перемирия, в крохотной бельгийской деревушке, где мы тогда квартировали. Помню, все вокруг утопало в снегу, а угля у нас почти не было. Потом началась демобилизация, немало труда мне стоило вновь приспособиться к мирной жизни, и на этом книга моя погибла. Я забросил рукопись и больше уже не брался за нее. Попытка оказалась преждевременной. Но ровно десять лет спустя, чуть ли не день в день, я вновь почувствовал, что должен приняться за эту книгу. Знаю, по многим причинам ты прочтешь ее с сочувствием. Но я не могу ждать той же снисходительности от других.

Эта книга – не создание романиста-профессионала. Она, видимо, вовсе и не роман. В романе, насколько я понимаю, некоторые условности формы и метода давно уже стали незыблемым законом и вызывают прямо-таки суеверное почтение. Здесь я ими совершенно пренебрег. Единственное мое оправдание: всякий волен писать, как ему заблагорассудится. Говорят, в этом романе я допускаю ошибки столь же чудовищные, как если бы ты в своих драмах ввел монологи и реплики «в сторону» или вдруг сам вышел бы

на сцену и принял участие в спектакле. Ты знаешь, как я был бы рад, если бы ты это сделал: я – враг всяких правил, произвольно навязываемых искусству. Стандарт в искусстве мне так же ненавистен, как в жизни. Грешил ли я экспрессионизмом и сюрреализмом или не грешил – этого я не знаю и знать не хочу. Я знал, что хочу сказать, – и сказал это. И ничуть не старался быть «оригинальным».

Техника этой книги, если тут вообще можно обнаружить какую-либо технику, та же, что я изобрел, когда писал свою длинную современную поэму под названием «Простак в лесу» (тебе она нравилась). Кое-кто называл ее «джазовой поэзией»; а теперь я написал, очевидно, джазовый роман. Ты увидишь, насколько это соответствует моей теме.

Надеюсь, во всяком случае, что явный или скрытый в этой книге идеализм найдет в тебе отклик. Я испытал много сомнений, колебаний, взгляды мои менялись, но всегда я сохранял известный идеализм. Я верю в людей, верю в некую изначально присущую им честность и чувство товарищества, – без этого общество не могло бы существовать. Как часто честность извращают, как часто товарищество предают, ты знаешь не хуже меня. Я не верю в трескучие фразы и в деспотизм, даже в диктатуру интеллигенции. Думается, мы с тобой имеем некоторое представление о том, что такое интеллигенция.

Кое-кто из молодежи, те, кому предстоит «вершить благородные дела, о которых мы забыли», с этим не согласны. Они полагают, будто с трескучими фразами можно бороться с помощью сверхтрескучих фраз. Искренность давным-давно устарела. Неважно, что именно говорить; важно только внушать другим, что ты прав. И остается одна надежда: запретить всем читать, за исключением немногих избранных (кем и как избранных?), а уж они будут указывать нам, простым смертным, что делать и как жить. Да неужели мы в это поверим? За тебя, так же как и за себя, смело отвечаю: конечно нет! А впрочем, может быть, это ирония и молодым людям просто не дают покоя лавры Свифта.

Но, как ты увидишь, эта книга, в сущности, – надгробный плач, слабая попытка создать памятник поколению, которое на многое надеялось, честно боролось и глубоко страдало. Другие, вероятно, поймут это совсем иначе. Почему бы и нет? А мы добиваемся только одного: пытаемся сказать правду, верим, что это правда, и не боимся ни противоречить себе, ни признавать свои ошибки.

Всегда твой Ричард Олдингтон.

Париж, 1929

От автора

Этот роман в напечатанном виде несколько отличается от рукописи. К моему удивлению, издатели сообщили мне, что некоторые слова, выражения, обороты и даже отдельные отрывки оказались сейчас в Америке под запретом. Я описывал в этой книге только то, что наблюдал в жизни, говорил только то, что безусловно считаю правдой, и у меня не было ни малейшего намерения тешить чье-либо нечистое воображение. Для этого моя тема слишком трагична. Но я вынужден послушаться совета тех, кто знает законы о печатном слове. Поэтому я просил издателей изъять из книги все, что, по их мнению, может показаться предосудительным, и заменить точками каждое пропущенное слово. Пусть лучше книга выйдет изуродованной, но я не стану говорить то, чего не думаю.

En attendant mieux¹.

P.O.

P. S. Справедливости ради должен прибавить, что в этом американском издании сокращения гораздо меньше и малочисленней, чем те, которых от меня потребовали в Англии.

¹ В ожидании лучшего (фр.).

Пролог Morte d'un er#e²

Allegretto

Военные действия давно уже прекратились, а в газетах все еще появлялись списки убитых, раненых и пропавших без вести, – последние спазмы перерезанных артерий Европы. Разумеется, никто этими списками не интересовался. Чего ради? Живым надо решительно ограждать себя от мертвецов, тем более – от мертвецов навязчивых. Но утрата двадцатого века огромна: сама Юность. И слишком многих пришлось забывать.

В одном из этих последних списков, под рубрикой «Пали на поле брани», стояло следующее:

«Уинтерборн, Эдуард Фредерик Джордж, капитан 2-й роты, 9-го батальона Фодерширского полка».

Новость эта была встречена с таким равнодушием и забыли Джорджа Уинтерборна с такой быстротой, что даже он сам удивился бы, – а ведь ему был свойствен безмерный цинизм пехотинца: пехотные циники всегда прикидываются этакими безмозглыми бодрячками и этим вводят в заблуждение многих не слишком проницательных людей. Уинтерборн почти надеялся, что его убьют, и знал, что его безвременную смерть в возрасте двадцати лет с небольшим оставшиеся в живых уж наверно перенесут стоически. Но то, что произошло, все же немного уязвило бы его самолюбие.

Говорят, жизнь – все равно что светящаяся точка, внезапно возникающая из ниоткуда. Прочертит в пространстве и времени сверкающую причудливую линию – и так же внезапно исчезнет. (Любопытно было бы поглядеть на огни, исчезающие из Времени и Пространства во время какого-нибудь большого сражения: Смерть гасит свечи...) Что ж, это наша общая участь; но мы тешим себя надеждой, что наш довольно путаный и не слишком яркий след будет еще хоть несколько лет светить хоть нескольким людям. Я думаю, имя Уинтерборна и вправду появилось на какой-нибудь мемориальной доске в память павших воинов, скорее всего в церкви при той школе, где он учился; и, конечно, во Франции он получил, как полагается, вполне приличный надгробный камень. Но и только. Его гибель никого особенно не огорчила. У людей сдержанных и притом небогатых друзей немного; и Уинтерборн не слишком надеялся на своих немногочисленных приятелей, а меньше всего на меня. Но я знал – он сам говорил мне, – что есть на свете четыре человека, которым как будто не совсем безразличен он и его судьба. Эти четверо – его отец и мать, его жена и его любовница. Знай он, как все они приняли весть о его смерти, я думаю, это его раздосадовало бы, но и позабавило, а пожалуй, у него и полегчало бы на душе. Он избавился бы от ощущения, что он все же за них в ответе.

Отец Уинтерборна – я немного знал его – отличался непомерной сентиментальностью. Тихий, беспомощный, с претензией на аристократичность, он был эгоистом из породы самоотверженных (иными словами, вечно ставил себе в заслугу, что «отказывается» от чего-нибудь такого, чего в глубине души боялся или не хотел) и обладал особым даром портить жизнь окружающим. Просто удивительно, сколько непоправимого вреда может причинить добрый, в сущности, человек. Десять отъявленных мерзавцев натворят меньше зла. Он испортил жизнь жене, потому что был с нею чересчур мягок; испортил жизнь детям,

² Смерть героя (*ит.*).

потому что был с ними чересчур мягок и сентиментален и потому что потерял свое состояние – непростительный грех со стороны родителя; испортил жизнь друзьям и клиентам, без всякого злого умысла пустив их по миру; и совсем испортил свою собственную жизнь. Это – единственное, что он на своем веку сумел сделать добросовестно, основательно и до конца. Он устроил из своего существования такую путаницу, что ее не сумела бы распутать целая армия психологов.

Когда я сказал Уинтерборну все, что думал о его отце, он почти во всем со мною согласился. Но, в общем, он любил отца, должно быть обезоруженный его кротким нравом и слишком снисходительный к этой тихой эгоистической сентиментальности. Быть может, при других обстоятельствах отец иначе воспринял бы известие о смерти Джорджа и иначе вел бы себя. Но он был до того напуган войной, до того не способен примениться к жестокой, неотвратимой действительности (он всю свою жизнь упорно от нее уклонялся), что ударился в набожность, доходящую до юродства. Он свел знакомство с какими-то елейными католиками, и зачитывался елейными брошюрками, которыми они его засыпали, и хныкал, и изливал душу елейному до отвращения духовнику, которого они ему сосватали. Итак, в разгар войны он был принят в лоно католической церкви; он без конца читал молитвы, и слушал мессу, и составлял правила поведения для тех, кто стремится к жизни вечной, и даже находил в себе сходство со святым Франциском Сальским, и молился о канонизации сверхъелейной Терезы Лизьеской, – и, будем надеяться, обрел во всем этом утешение.

Известие о гибели Джорджа застало старика Уинтерборна в Лондоне, где он «работал на оборону». Он никогда бы не взялся за дело, которое требовало решимости и энергии, если бы его не довела до этого жена, пилившая его без передышки. Ее воодушевлял не столько бескорыстный патриотизм, сколько злость: возмутительно, что он вообще существует на свете, да еще мешает ее любовным похождениям! А он всегда с гордым и скорбным достоинством повторял, что его религиозные убеждения запрещают ему с ней развестись. Религиозные убеждения – прекрасный предлог, чтоб делать людям гадости. Итак, она нашла для него в Лондоне оборонную работу и поставила его в такое положение, что он не мог отказаться.

Телеграмма военного министерства – «с прискорбием сообщаем... пал на поле брани... соболезнование их величеств...» – пришла на адрес загородного дома и попала в руки миссис Уинтерборн. Какой повод для переживаний, едва ли не приятное разнообразие: в деревне сразу после перемирия скука была изрядная! Миссис Уинтерборн сидела у камина, зевая в лицо своему двадцать второму любовнику, – роман тянулся уже около года, – и тут горничная подала телеграмму. Телеграмма была адресована мужу, но жена, разумеется, ее вскрыла: она подозревала, что какая-нибудь «такая» женщина охотится за ее супругом, который, впрочем, по трусости своей был, к сожалению, вполне добродетелен.

Миссис Уинтерборн обожала в жизни театральные эффекты. Она вполне убедительно взвизгнула, прижала руки к довольно рыхлой груди и сделала вид, что падает в обморок. Любовник, образцовый молодой англичанин – то есть спортсмен и славный мальчик, из тех, что звезд с неба не хватают и дают водить себя за нос каждой юбке, тем паче каждой образцовой англичанке, подхватил ее машинально и не слишком охотно, но воскликнул с чувством, подобно какому-нибудь герою Этель Делл:

– Что случилось, дорогая? Неужели *он* опять оскорбил вас?

Бедняга Уинтерборн-старший был совершенно не способен кого-либо оскорбить, но у миссис Уинтерборн и ее любовников так уж повелось: возмущаться мужем, который ее «оскорбляет» и «издевается» над нею, хотя он в худшем случае позволял себе горячо молиться о том, чтобы супруга, вкупе со всей «несчастной заблудшей Англией», обратилась к истинной вере.

Низким томным голосом, в подражание героиням душещипательных романов, миссис Уинтерборн простонала:

– Он умер, умер!

– Кто? Уинтерборн?

(Хлопотавший вокруг нее Сэм Браун, кажется, немного испугался – ему, конечно, придется предложить руку и сердце, – и предложение того и гляди примут.)

– Мой сыночек! Эти гнусные, мерзкие гунны убили моего мальчика.

Сэм Браун, все еще ничего не понимая, взял телеграмму и прочел ее. Потом вытянулся, отдал честь (хотя на нем не было фуражки) и сказал торжественно:

– Славная, честная смерть. Смерть, достойная англичанина.

(Когда убивают гунна, в этом нет ничего славного и честного: так им, подлецам – не при дамах говорится «стервецам», – и надо.)

Слезы, проливаемые миссис Уинтерборн, были не слишком искренни, и их довольно быстро удалось осушить. Она трагически бросилась к телефону. Трагическим голосом сказала в трубку:

– Подстанция? *(Всхлип.)* Дайте мне Кенсингтон десять тридцать. Да, да, номер мистера Уинтерборна *(всхлип)*. Наш милый сын... капитан Уинтерборн... погиб... его убили эти *(всхлип)* звери. *(Всхлип. Пауза.)* Благодарю вас, мистер Крамп, я не сомневалась, что вы почувствуете нашему горю. *(Всхлип. Всхлип.)* Такой внезапный удар. Мне не-об-хо-димо поговорить с мистером Уинтерборном. У нас здесь сердца разрываются *(всхлиписсимо)*. Благодарю вас. Я буду ждать звонка.

И в телефонном разговоре с супругом миссис Уинтерборн также оставалась верна себе:

– Это ты, Джордж? Да, это я, Изабелла. Я сейчас получила печальное известие. Нет, о Джордже. Приготовься, дорогой. Боюсь, что он очень болен. Что? Нет, Джордж, Джо-ордж! Ты что, оглох? Ну, вот так-то лучше. Так вот, слушай, дорогой, ты должен подготовиться к тяжкому удару. Джордж очень болен. Да, да, наш Джордж, наш малютка. Что? Ранен? Нет, не ранен, очень опасно болен. Нет, дорогой, надежды почти никакой. *(Всхлип.)* Да, дорогой, телеграмма от их величеств. Прочитать тебе? Ты приготовился к удару, Джордж, да? «С глубоким прискорбием... пал на поле брани... соболезнование их величеств...» *(Всхлип. Долгая пауза.)* Ты слушаешь, Джордж? Алло, алло! *(Всхлип.)* Алло, алло! Алло-о! *(Сэму Брауну.)* Он повесил трубку! Этот человек надо мной издевается! Когда я в таком горе! Это невыносимо! А я еще старалась смягчить удар! *(Всхлип. Всхлип.)* Но ведь мне всегда приходилось сражаться ради моих детей, а он только сидел уткнувшись носом в книгу или твердил молитвы!

К чести миссис Уинтерборн надо сказать, что она не очень-то верила, будто молитвы помогают в практической жизни. Однако ее неприязнь к религии коренилась в другом: эта женщина терпеть не могла делать то, чего ей делать не хотелось, и глубоко ненавидела всякое подобие мысли.

Услышав роковое известие, мистер Уинтерборн упал на колени (не забыв, однако, дать отбой, чтобы не слышать больше эту фурию) и воскликнул: «Упокой, Господи, его душу!» После этого мистер Уинтерборн еще долго молился за упокой души Джорджа, за себя самого, за свою «заблудшую, но возлюбленную супругу», за других своих детей – «да спасутся и да внидут по милости твоей, Господи, в лоно истинной веры», за Англию (то же, за своих врагов – «ты, Господи, веши, я чужд вражде, хоть и грешен, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ave Maria...»³

Некоторое время Уинтерборн простоял на коленях. Но на кафельном полу в прихожей молиться было жестко и неудобно, а потому он пошел в спальню и преклонил колена

³ Моя вина, моя вина, моя величайшая вина, радуйся Мария... *(лат.)*

на мягкой молитвенной скамеечке. Перед ним на аналое, покрытом весьма благочестивой вышивкой – даром «сестры во Христе», – лежал раскрытый требник в весьма благочестивом переплете, с яркой весьма благочестивой закладкой. На подставке стояла раскрашенная Дева Мария с тошнотворным младенцем Иисусом, копия статуи из монастыря Сен-Сюльпис; в руках младенца болталось святое сердце, истекающее кровью и окруженное сиянием. Еще выше водружено было большое распятие – довольно дешевая подделка под бронзу, справа – репродукция «Тайной вечери» Леонардо да Винчи (цветная), слева – репродукция с картины Холмана Ханта (еретика) «Светоч мира» (одноцветная). Все это служило мистеру Уинтерборну неиссякаемым источником утешения и спокойствия духа.

За обедом он ел мало, с горьким удовлетворением думая о том, что скорбь явно отнимает у людей аппетит, а пообедав, отправился к своему духовнику, отцу Слэку. Здесь мистер Уинтерборн дал волю чувствам и приятно провел вечер; он пролил много слез, и оба усердно молились. Отец Слэк выразил надежду, что Джордж под влиянием отцовских молитв и добродетелей перед смертью покается, а мистер Уинтерборн сказал, что, хоть Джордж и не был принят в лоно святой церкви, в нем жил «дух истинного католика» и однажды он даже прочел одну проповедь Боссюэ; а отец Слэк сказал, что будет молиться о душе Джорджа, и мистер Уинтерборн оставил ему пять фунтов стерлингов на мессы за упокой души Джорджа – поступок щедрый (хоть и глупый), так как доходы мистера Уинтерборна были весьма скромные.

После этого мистер Уинтерборн каждое утро и каждый вечер тратил на молитву на десять минут больше прежнего, так как молился о спасении души Джорджа. Но, к несчастью, однажды он, погруженный в размышления о блаженном мученике отце Парсонсе и еще более блаженном мученике отце Гарнете, герое Порохового заговора, переходя мостовую у самого входа в Хайд-парк, попал под колеса. Пяти фунтов хватило ненадолго, и больше некому было молиться о спасении души Джорджа; так что, насколько известно святой римской апостольской церкви и насколько сие от нее зависит, бедняга Джордж пребывает в аду и, надо полагать, там и останется. Впрочем, последние годы его жизни были таковы, что он, вероятно, и не заметил разницы.

Так принял смерть Джорджа его отец. «Реакция» матери (как это называют психологи) была несколько иная. Миссис Уинтерборн на первых порах нашла, что это событие очень возбуждает и подстегивает, особенно в смысле эротическом. Эта женщина обожала драмы и всю свою жизнь разыгрывала как драму. Она жаждала быть в центре всеобщего внимания, точно какой-нибудь итальянский офицер, ей необходимо было, чтобы ею восхищались все без разбору. В доме у нее удерживались дольше месячного испытательного срока только те слуги, которые готовы были пресмыкаться перед нею и не гнушались самой грубой лестью, превознося каждый ее шаг, каждое слово, каждую прихоть, ее наряды и безделушки, ее друзей и знакомых. Но миссис Уинтерборн была необыкновенно капризна и сварлива, так что ее друзья-приятели то и дело становились ей врагами, а заклятые враги неожиданно оказывались ее не слишком искренними друзьями, – поэтому от корыстных наемников, оставшихся верными ей только ради прибавки жалованья или подачек, которыми она вознаграждала особенно удачную лесть, требовались такая гибкость и такт, каким позавидовал бы любой дипломат.

Миссис Уинтерборн была уже вполне зрелая матрона, однако она предпочитала воображать себя очаровательной семнадцатилетней девушкой, страстно любимой пылким и неотразимым, точно шейх, но притом, конечно же, «чистым» (чтобы не сказать «честным») молодым британцем. Она так и сыпала мнимореволюционными фразами, «подрывающими основы» семьи и собственности (в этом стиле разглагольствуют нередко «просвещенные» служители церкви), а в сущности, это была самая заурядная мещанка, напичканная предрассудками, жадная, скупая и злобная. Как всякая мещанка, она угодничала перед теми,

кто занимал лучшее положение в обществе, и помыкала стоящими ниже. Рамки мелкобуржуазной морали, естественно, делали ее лицемеркой. В игривые минуты (а она очень любила резвиться, совершенно не понимая, насколько это ей не к лицу) она охотно намекала, что способна «нарушить все запреты». А в действительности бурные порывы сводились к тому, что она с удовольствием выпивала, была лжива и сварлива, нечистоплотна в денежных делах, с азартом билась об заклад и заводила интрижки с нагловатыми молодыми людьми, которых только при ее романтически буйном воображении можно было именовать «чистыми и честными», хотя, без сомнения, они были истинными англичанами и, разумеется, славными малыми – более или менее нагловатого типа.

Она столько сменила этих чистых и честных молодых шейхов, что даже бедняга Уинтерборн совсем запутался – и когда принимался за очередное драматическое послание, начинавшееся неизменно словами: «Сэр! Похитив у меня привязанность моей жены, вы поступили как мерзкий пес, – да не будут эти слова истолкованы в нехристианском духе...» – письмо это, как правило, было обращено к шейху прошлому или позапрошлому, а не к тому, кто пользовался ее благосклонностью в данное время. Однако увещевания, непрестанно появлявшиеся в дни войны на страницах газет и журналов, а главное – опасность из зрелой матроны превратиться в перезрелую, настроили миссис Уинтерборн на серьезный лад, и с безошибочным чутьем она мертвой хваткой вцепилась в Сэма Брауна – вцепилась и уже не отпускала несчастного до конца его дней (конца безвременного, который она же и ускорила). Что и говорить, Сэм Браун был безупречен – такое встречается только в сказках. Если бы я не видел его своими глазами, я бы в него просто не поверил. Это был оживший – вернее, отчасти оживший – стереотип. Представление о жизни у него было самое примитивное, едва ли достаточное для четвероногого, и мыслительными способностями природа наделила его крайне скупо. Это был великовозрастный бойскаут, пригостишка в блистательной броне – в броне тупоумия. Все в жизни он воспринимал и оценивал по готовой формуле, – что бы ни случилось, а соответствующая, заранее предусмотренная формула всегда найдется. Итак, хоть и не достигнув особо высоких степеней, он, в общем, преуспевал, благополучно скользил по укатанным дорожкам где-то на втором плане. Если его к этому не вынуждали, он никогда сам не заговаривал о том, что был ранен, награжден орденом или о том, что уже 4 августа пошел в армию добровольцем. Словом, скромный, воспитанный и прочая и прочая английский джентльмен.

На случай, когда умирает сын замужней любовницы, формула предписывала суровую мужественность и нежное сочувствие, целительное для ран материнского сердца. Миссис Уинтерборн сперва не выходила из роли – пылкий, но нежный Сэм Браун всегда настраивал ее на лирический лад. Но, как ни странно, смерть Джорджа пробудила в ней прежде всего чувственность. На многих женщин война повлияла именно так. Смерть, раны, кровь, жестокость – всё на безопасном расстоянии – подхлестывали и возбуждали их, разжигали их пыл до предела.

Разумеется, в эти нескончаемые годы, 1914–1918-й, женщины поневоле вообразили, что смертны одни лишь мужчины, а им даровано бессмертие; и они, новоявленные гурии, старались обольстить каждого попадавшегося под руку шейха, – вот почему их так привлекала «работа на оборону» с ее широкими возможностями. А кроме того, еще и первобытный физиологический инстинкт подсказывал: назначение мужчины – убивать и быть убитым, назначение женщины – рожать новых мужчин, чтобы все продолжалось в том же духе. (Правда, этому нередко мешает наука, ибо она идет вперед, а именно – создает противозачаточные средства, за что ей великое спасибо.)

Итак, не удивляйтесь, что волнение миссис Уинтерборн, вызванное смертью сына, почти немедленно приняло эротическую окраску. Она лежала на кровати в пышных белых панталонах с длиннейшими оборками и в целомудренной, но необычайно нарядной сорочке.

Сэм Браун, сильный, молчаливый, сдержанный и нежный, смачивал ей лоб одеколоном, а она большими глотками все чаще прихлебывала коньяк. Разумеется, приличия требовали, чтобы к ее горю относились с уважением, и это было даже приятно, а все-таки... лучше бы Сэма не приходилось каждый раз подталкивать на первый шаг. Неужели он не видит, что ее нежная натура нуждается в утешении, в капельке Истинной Любви – и притом сейчас же, сию минуту?

– Я его так любила, Сэм, – тихо молвила миссис Уинтерборн с искусно сделанной дрожью в голосе. – Я была совсем девочкой, когда он родился, – детка с деткой, говорили про нас, – и мы с ним росли вместе. Я была такая юная, что еще два года после его рождения ходила с косичками.

(Уверения миссис Уинтерборн относительно ее непреходящей юности были так шиты белыми нитками, что не обманули бы даже читателей «Джона Бланта», – но все шейхи попадались на эту удочку. Бог весть что они думали – воображали, должно быть, что Уинтерборн «оскорбил» ее, когда ей было десять лет.)

– Мы с ним были неразлучны, Сэм, мы были настоящими друзьями, и он никогда ничего от меня не скрывал.

(Бедняга Джордж! Он терпеть не мог свою мамашу, за последние пять лет своей жизни он и пяти раз с нею не виделся. А уж насчет того, чтобы с нею откровенничать, – куда там, самый простодушный из простодушных дикарей тотчас заподозрил бы, что она привирает. Когда Джордж был еще мальчиком, она снова и снова так подло предавала его, что он наглухо замкнулся в себе и уже не мог довериться ни жене, ни любовнице, ни другу.)

– А теперь его больше нет... – Тут в голосе миссис Уинтерборн зазвучали столь недвусмысленные призывные нотки, что даже бестолковый шейх заметил это и ощутил смутное беспокойство. – Теперь его уже нет, и у меня остался только ты, Сэм, в целом свете только ты один. Ты слышал, как этот низкий человек сегодня оскорбил меня по телефону. Поцелуй меня, Сэм, и обещай, что ты всегда будешь мне другом, настоящим другом!

Формулой поведения шейха не предусмотрено было в этот день заниматься любовью; скорбящую мать полагается утешить, но «святость» ее материнского горя недопустимо осквернять плотской близостью, – хотя и эта близость между истинным англичанином и «безупречной» женщиной, у которой только и было что муж да двадцать два любовника, тоже странным образом оказалась «священной». Но где уж всем сэмам браунам в мире устоять перед несокрушимой волей таких вот миссис уинтерборн – и особенно перед их волей к совокуплению! И он – да будет позволено так выразиться – возвысился до требований момента. И он тоже испытал странное, извращенное наслаждение, нежничая и занимаясь любовью над свежим трупом; а между тем будь он способен пораскинуть мозгами, он понял бы, что миссис Уинтерборн не только садистка, но и некрофилка.

В ближайшие месяц-два смерть Джорджа стала для его матери источником и других, почти ничем не омраченных радостей. Она простила – разумеется, временно – самых заклятых своих врагов, чтобы разослать побольше писем о тяжелой утрате, – письма она сочиняла с увлечением и украшала пятнами слез. Многие без пяти минут аристократы, обычно избегавшие этой особы как ядовитейшей разновидности скорпиона во образе человеческом, явились к ней с визитом – правда, самым кратким – и выразили свое соболезнование. Ее посетил даже приходский священник, и встречен был с любезностью чрезвычайной; ибо, хотя миссис Уинтерборн и уверяла всех, будто пренебрегает мнением общества и исповедует агностицизм (столь крайние взгляды появились у нее, впрочем, лишь после того, как перед нею захлопнули двери почти все добропорядочные и благочестивые обыватели), она сохранила суеверное почтение к служителям официальной церкви.

Другая радость миссис Уинтерборн была – переругиваться с Элизабет, женою Джорджа, из-за его жалкого «наследства» и оставшихся после него вещей. Уходя в армию,

Джордж думал, что как ближайшего родственника должен назвать отца. Позже он понял свою ошибку и, отправляясь вторично во Францию, указал, что его ближайшая родственница – жена. Военное министерство заботливо сохранило оба документа – либо там вообразили, что существуют два Джорджа Уинтерборна, либо первая бумажка, не изъятая официально, сохранила юридическую силу. Так или иначе, часть вещей, оставшихся после гибели Джорджа, была отослана по загородному адресу на имя отца – и мать без зазрения совести их присвоила. Остальные личные вещи и еще причитавшееся ему офицерское жалованье отправлены были жене Джорджа. Миссис Уинтерборн-старшую это привело в неопишную ярость. Экий дурацкий бюрократизм! – возмущалась она. Да разве ее сыночек не принадлежит ей, матери? Не она ли носила его под сердцем и тем самым до конца своего земного существования обрела право владеть безраздельно им самим и всем, что ему принадлежало? Да разве может женщина, кто бы она ни была, занять в мыслях и в сердце мужчины такое же место, как его родная мать? А стало быть, ясно, что она – мать – и есть его ближайшая родственница и наследница и что все его имущество, включая вдовью пенсию, должно достаться ей и только ей; Q. E. D.⁴ Из-за этого наследства миссис Уинтерборн не давала ни минуты покоя своему злосчастному супругу, пыталась втянуть в драку Сэма Брауна, однако егохватило лишь на «прямое и честное» письмо к Элизабет, но та нокаутировала его в первом же раунде и даже обратилась к столичному юристу. Из Лондона миссис Уинтерборн-старшая возвратилась вне себя от бешенства. «Этот человек» (иными словами, муж) вновь оскорбил ее, робко заметив, что все имущество Джорджа нужно отдать его вдове, но она, конечно, позволит им сохранить кое-какие мелочи на память о сыне. Юрист же – подлая скотина! – без малейшего сочувствия заявил, что вдова Джорджа имеет полное право притянуть свекровь к суду за удержание имущества, принадлежащего ей (Элизабет) по закону. Завещание Джорджа было ясным и недвусмысленным – он все оставлял жене. И, однако, ту долю его вещей, которой завладела мамаша, она из рук уже не выпустила назло всем силам земным и небесным. И она обрадовалась случаю с наслаждением высказать «этой женщине» (т. е. Элизабет) все, что о ней думала, – а именно, что бедная Элизабет объединяет в своем лице Екатерину II, Лукрецию Борджа, мадам де Бренвилье, Молль Флендерс, «вязальщицу» времен Французской революции и отъявленную негодяйку из лондонских трущоб.

Но после своей смерти Джордж служил для матери источником развлечения всего месяца два. Как раз тогда, когда в распре с Элизабет миссис Уинтерборн достигла головокружительных высот вульгарнейшей ругани, старика Уинтерборна задавило на улице. Появились новые развлечения: следствие о смерти, и самые настоящие похороны, и вдовий траур, и новые письма, закапанные слезами. Она даже послала такое письмо Элизабет – я сам его видел; она писала, что после двадцати лет замужества (на самом деле Уинтерборны были женаты около тридцати лет) настал конец ее семейному счастью, что теперь отец и сын соединились в блаженстве жизни вечной и что, каковы бы ни были ошибки и прегрешения мистера Уинтерборна, он всегда был *джентльменом* (последнее слово она подчеркнула жирной чертой и поставила несколько восклицательных знаков – очевидно, понимать надо было так, что сама-то Элизабет отнюдь не леди!).

Месяц спустя миссис Уинтерборн вышла замуж за своего шейха – увы, отныне он перестал быть шейхом! Брак был зарегистрирован в соответствующей лондонской канцелярии, после чего молодые супруги отбыли в Австралию, где им предстояло вести жизнь чистую, честную и благородную. Да пребудут они в мире – уж слишком они были чисты и благородны для погрязшей в разврате Европы!

⁴ Quod erat demonstrandum – что и требовалось доказать (*лат.*).

Что и говорить, родители Джорджа были нелепы до карикатурности. Подчас им овладевал насмешливый цинизм, и он начинал рассказывать приятелям об отце с матерью, – и хотя ничуть не преувеличивал, даже люди с головой упрекали его за чудовищные выдумки. Если верить общепринятым теориям о роли среды и наследственности (впрочем, скорее всего они лгут), то, право же, загадочно и непостижимо, словно тайны замка Удольфо – как Джордж ухитрился до такой степени не походить на своих родителей и все родственное окружение. В нем можно было найти внешнее сходство и с отцом и с матерью, но в остальном он не имел с ними ничего общего, будто явился с другой планеты. Быть может, они казались такими нелепыми потому, что ни тот ни другая совершенно не умели приноровиться к бурным, всеохватывающим переменам в жизни, причиной или признаком которых была мировая война. У них перед носом разыгрывалась величайшая драма, а они ее даже не заметили. Их только и волновали продовольственные пайки. Старик Уинтерборн очень беспокоился также о «судьбах родины» и излагал свои мнения и советы в письмах в «Таймс» (где их не печатали), а потом, переписав их на бумаге с гербом своего клуба, отсылал премьер-министру. Кто-нибудь из секретарей премьера с неизменной вежливостью подтверждал получение. На миссис же Уинтерборн тревога «о судьбах родины» нападала лишь изредка, приступами. Она полагала, что Британская империя должна вести войну как крестовый поход, до полного истребления «гносных мерзких гуннов», чтобы спасти мир для славных честных шейхов и милых, чистых, резвых, как котята, пятидесятилетних англичанок. Что и говорить, нелепо, дико, неправдоподобно, как мужские моды сороковых годов прошлого века. Я встречался с родителями Джорджа всего несколько раз – сначала бывая у него, потом в качестве его душеприказчика, – и они казались мне такими же неправдоподобными, смехотворными, такими же доисторическими ископаемыми, какими казались Парижу 1815 года возвращающиеся из бегов аристократы. Подобно Бурбонам, старшие Уинтерборны ничему не научились за время войны и ничего не забыли. В том-то и трагедия Англии, что война ничему не научила всех ее Уинтерборнов и что ею правили карикатурно нелепые, растерянные и беспомощные людишки, заполнившие сверху донизу все посты гражданской государственной службы, тогда как молодежь в отчаянии махнула на все рукой. *Gott strafe England*⁵ – вот молитва, которая была услышана: небеса лишили Англию разума настолько, что она оставила карикатурно нелепых Уинтерборнов у кормила правления и делала вид, будто они еще на что-то годны. А мы продолжаем со всем этим мириться, и у нас даже не хватает смелости вышвырнуть нелепые марионетки старой Англии в Лимб, где им самое подходящее место. *Pero, paciencia. Mañana, Mañana...*⁶

Порой я думаю, что в том последнем бою мировой войны Джордж просто совершил самоубийство. Я не хочу сказать, что он пустил себе пулю в лоб, но ведь командиру роты ничего не стоит подняться во весь рост под пулеметным огнем противника. Отношения с Элизабет и с Фанни Уэлфорд, в которых запутался Джордж, можно было бы и распутать, но на это потребовалась бы толика терпенья, и энергии, и решимости, и здравого смысла. А бедняга Джордж к ноябрю 1918 года был измучен и истерзан сверх всякой меры. Он был немножко не в своем уме, как были не в своем уме почти все, кто провел больше полугода на переднем крае. После боев при Аррасе (то есть с апреля 1917-го) он держался только на нервах, и, когда в октябре 1918-го мы встретились в тыловом дивизионном лагере, я сразу увидел, что он вконец измотан, выжат, как лимон. Ему бы пойти к бригадному генералу и получить хоть короткий отпуск. Но он слишком боялся струсить. В ту последнюю ночь, когда мы с ним виделись, он сказал мне, что его теперь пугают даже разрывы гранат, а загра-

⁵ Боже, покарай Англию (*нем.*).

⁶ Однако терпенье. Завтра, завтра... (*исп.*)

дительного огня ему, наверно, больше не выдержать. Однако он был упрям, как черт, и непременно хотел вернуться в свой батальон, хоть и знал, что их сейчас же снова двинут в бой. Мы не спали чуть не до утра, и он все говорил об Элизабет, о Фанни и о себе, и снова о себе, о Фанни и Элизабет, и наконец все это стало казаться таким давящим кошмаром, трагедией, подобной судьбе рода Атреева, что я и сам подумал: да, исхода нет. В ту ночь несколько раз налетали вражеские аэропланы и сбрасывали бомбы, а мы лежали в темноте на парусиновых койках и перешептывались – вернее, шептал Джордж, а я пытался перебить его и не мог. И всякий раз как неподалеку от лагеря падала бомба, я и в темноте чувствовал, что Джордж вздрагивает. Да, нервы у него никуда негодились.

Элизабет и Фанни нелепыми карикатурами не назовешь. К войне они приспособились на диво быстро и ловко, так же как позднее применились к послевоенным порядкам. Обеим была присуща жесткая деловитость, что отличала женщин в те военные и послевоенные годы; обе умело маскировали извечную хищность, собственнический инстинкт своего пола дымовой завесой фрейдизма и теории Хэвлока Эллиса. Слышали бы вы, как они обо всем этом рассуждали! Обе чувствовали себя весьма свободно на высотах «полового вопроса», в дебрях всяческих торможений, комплексов символики сновидений, садизма, подавленных желаний, мазохизма, содомии, лесбиянства и прочая и прочая. Послушаешь и скажешь – до чего разумные молодые женщины! Вот кому чужд всякий сентиментальный вздор, уж они-то никогда не запутаются в каких-нибудь чувствительных бреднях. Они основательно изучили проблемы пола и знают, как эти проблемы разрешать. Существует, мол, близость физическая, близость эмоциональная и, наконец, близость интеллектуальная, – и эти молодые особы управляли всеми тремя видами с такой же легкостью, с какою старый опытный лоцман проводит послушное судно в самую оживленную гавань Темзы. Они знали, что ключ ко всему – свобода, полная свобода. Пусть у мужчины есть любовницы, у женщины – любовники. Но если существует «настоящая» близость, ничто ее не разрушит. Ревность? Но такая примитивная страсть, конечно же, не может волновать столь просвещенное сердце (бьющееся в довольно плоской груди). Чисто женские хитрости и козни? Оскорбительна самая мысль об этом. Нет уж! Мужчины должны быть «свободны», и женщины должны быть «свободны».

Ну а Джордж, простая душа, всему этому верил. У него был «роман» с Элизабет, а потом «роман» с ее лучшей подругой Фанни. Джордж считал, что надо бы сказать об этом Элизабет, но Фанни только пожала плечами: зачем? Без сомнения, Элизабет чутьем уже все поняла – и гораздо лучше довериться мудрым инстинктам и не впутывать в дело наш бессильный ум. И так, они ни слова не сказали Элизабет, которая ничего чутьем не поняла и воображала, что Джордж и Фанни «сексуально антипатичны» друг другу. Все это было в канун войны. Но в 1914 году у Элизабет случилась задержка, и она вообразила, будто беременна. Ух, что тут поднялось! Элизабет совсем потеряла голову. Фрейд и Хэвлок Эллис тотчас полетели ко всем чертям. Тут уж не до разговоров о «свободе»! Если у нее будет ребенок, отец перестанет давать ей деньги, знакомые перестанут ей кланяться, и ее уже не пригласят обедать у леди Сент-Лоуренс, и... Словом, она вцепилась в Джорджа и мигом положила его на обе лопатки. Она заставила его раскошелиться на специальное разрешение, и они сочетались гражданским браком в присутствии родителей Элизабет, – те и опомниться не успели, сбитые с толку ее неожиданным замужеством. Отец Элизабет попытался было возражать – ведь у Джорджа ни гроша за душой, а миссис Уинтерборн разразилась великолепным драматическим посланием, закапанным слезами: Джордж – слабоумный выродок, – писала она, – он разбил ее нежное материнское сердце и нагло растоптал его ради гнусной похоти, ради мерзкой женщины, которая охотится за деньгами Уинтерборнов. Поскольку никаких денег у Уинтерборнов не осталось и старик изворачивался и перехватывал в долг, где только мог,

обвинение это было, мягко говоря, чистойшей фантазией. Но Элизабет одолела все препоны, и они с Джорджем поженились.

После свадьбы Элизабет вновь вздохнула свободно и стала вести себя более или менее по-человечески. Тут только она догадалась посоветоваться с врачом; он нашел у нее какую-то пустячную женскую болезнь, посоветовал месяц-другой «избегать сношений» и расхотался, услышав, что она считает себя беременной. Джордж и Элизабет сняли квартиру в Челси, и через три месяца Элизабет снова стала весьма просвещенной особой и яркой поборницей «свободы». Успокоенная заверениями доктора, что у нее никогда не будет детей, если только она не подвергнется особой операции, она завела «роман» с неким молодым человеком из Кембриджа и сказала об этом Джорджу. Джордж был удивлен и обижен, но честно играл свою роль и по первому же намеку Элизабет благородно уходил на ночь из дому. Впрочем, он не так страдал и не столь многого был лишен, как казалось Элизабет: эти ночи он неизменно проводил у Фанни.

Так продолжалось до конца 1915 года. Джордж, хоть он и нравился женщинам, обладал особым даром вечно попадать с ними впросак. Скажи он Элизабет о своем романе с Фанни в ту пору, когда она была по уши влюблена в своего кембриджского поклонника, она, конечно, примирилась бы с этим, и все сошло бы гладко. На свое несчастье, Джордж свято верил каждому слову и Фанни, и Элизабет. Он ни минуты не сомневался, что Элизабет прекрасно знает о его отношениях с Фанни, а если они об этом не говорят, так только потому, что «подобные вещи вполне естественны» и «мудрствовать лукаво» тут совершенно незачем. Но однажды, когда кембриджец стал уже немного надоедать Элизабет, ее поразило, с какой охотой Джордж приготовился «убраться» на ночь из дому.

– Но послушай, милый, – сказала она, – ведь ночевать каждый раз в гостинице очень дорого. По карману ли это нам? И ты ни капельки не сердишься?

– Конечно нет, – наивно ответил Джордж. – Просто я забегу к Фанни и переночую, как всегда, у нее.

Разразилась буря: сначала на Джорджа накинута Элизабет, потом Фанни, и, наконец, в довершение всего – битва, достойная быть воспетой Гомером, – Элизабет накинута на Фанни. Бедняге Джорджу до того все это осточертело, что он ушел добровольцем в пехоту, – записался в первом попавшемся вербовочном пункте, и его тотчас отправили в учебный лагерь в Мидленде. Но, разумеется, это ничего не решило. Элизабет была разгневана, и Фанни была разгневана. Ахилл сражался с Гектором, и Джордж оказался в роли убитого Патрокла. Ни та ни другая, в сущности, не пылала такой уж неодолимой страстью к Джорджу, но каждая во что бы то ни стало стремилась выйти победительницей и «отбить» его, причем весьма вероятно, что, «отбив» его у другой, победительница очень быстро охладела бы к своему трофею. Итак, обе писали ему нежные, прочувствованные, исполненные «понимания» письма и ужасно жалели его – мученика, изнывающего под ярмом армейской муштры. Элизабет приезжала в Мидленд и прибирала его к рукам на все воскресенье; но как-то она «закрутила роман» с молодым американским легчиком, и очередное воскресенье Джордж, получив неожиданно отпуск, провел с Фанни. Джордж плохо понимал женщин, по этой части он был туповат. Он очень любил Элизабет, но очень любил и Фанни тоже. Не поддайся он на болтовню о «свободе», сохрани в тайне от Элизабет свои отношения с Фанни, он мог бы вести вполне завидную двойную жизнь. На свою беду, он не понимал и так и не понял до конца своих дней, что обе они только болтали о «свободе», хотя он-то все принимал за чистую монету. И он писал им обоим глупейшие письма, способные только разозлить их, – в письмах к Элизабет расхваливал Фанни, в письмах к Фанни превозносил Элизабет, толковал о том, как обе они ему дороги; он, видите ли, новый Шелли, Элизабет –

вторая Мери Годвин, а Фанни – Эмилия Вивиани. Он писал им в том же духе и из Франции, до самого конца. И так и не понял, каким он был, в сущности, ослом.

Разумеется, не успел Джордж ступить на корабль, который должен был отвезти его в Булонь, на базу английских войск, как и Элизабет, и Фанни с увлечением завели новые романы. Они продолжали воевать из-за Джорджа, но только между делом, чисто символически – больше назло друг другу, потому что для обеих он теперь был бы лишь обузой.

Телеграмма из военного министерства не застала Элизабет: она вернулась домой только к полуночи, и не одна – ее провожал очаровательный молодой художник-швед, они только что познакомились в одной веселой компании в Челси. Элизабет там выпила лишнее, а швед – рослый, красивый белокурый молодец – так и пылал, разгоряченный любовью и виски. Телеграмму и несколько писем подсунули под дверь, и они валялись на коврик у порога. Элизабет подобрала их и, повернув выключатель, машинально вскрыла телеграмму. Швед стоял рядом, глядя на нее влюбленными и пьяными глазами. Невольно Элизабет вздрогнула и слегка побледнела.

– Что случилось?

Она рассмеялась своим чуточку визгливым смешком и положила письма и телеграмму на стол:

– Военное министерство с прискорбием извещает меня, что мой муж пал на поле брани.

Теперь вздрогнул швед:

– Ваш муж?.. Так, может быть, мне лучше...

– Не дурите, – резко сказала Элизабет. – Он давным-давно стал мне чужим. Пускай *она* горюет, а я и не подумаю.

Все-таки она немножко всплакнула в ванной; но швед и впрямь оказался очень предупредительным любовником. Притом они выпили немало коньяку.

На другой день Элизабет написала Фанни – впервые после нескольких месяцев молчания:

«Пишу тебе всего несколько слов, дорогая: я получила телеграмму из военного министерства с извещением, что Джордж убит четвертого во Франции. Я подумала, что эта новость будет для тебя не таким ударом, если ты узнаешь ее от меня, а не как-нибудь случайно. Когда наплачешься, загляни ко мне, и мы вместе справим поминки».

Фанни ей не ответила. Она все-таки любила Джорджа и решила, что Элизабет просто бессердечная. Но и Элизабет все-таки любила Джорджа, только считала, что Фанни незачем об этом знать. Я часто встречался с Элизабет, улаживая имущественные дела Джорджа, – в сущности, после него только и осталось, что обстановка их квартиры, книги, скудный текущий счет в банке, несколько облигаций военного займа, да еще кое-что причиталось ему за довоенные работы, и Элизабет имела право на пенсию. Но, чтобы навести в этих делах какой-то порядок, требовалась изрядная переписка, и Элизабет с радостью препоручила ее мне. Раза два я виделся и с Фанни и передал ей кое-какие пустяки, оставленные для нее Джорджем. Но я ни разу не видел их вместе – они избегали друг друга; а покончив с обязанностями душеприказчика, я уже почти не встречался ни с той ни с другой. Фанни в 1919 году уехала в Париж и вскоре вышла замуж за художника-американца. Однажды вечером, в 1924 году, я видел ее в Доме Инвалидов с большой компанией, премило одетую и сильно накрашенную. Она смеялась и кокетничала напропалую с каким-то пожилым американцем – должно быть, покровителем искусств – и, похоже, не очень-то горевала о Джордже. Да и с чего бы ей горевать?

А вот Элизабет покатила по наклонной плоскости. После смерти отца ее доходы удвоились, притом она получала вдовью пенсию за Джорджа – и теперь в «артистиче-

ской» среде, где кошельки у всех довольно тощие, считалась женщиной со средствами. Она много путешествовала, причем никогда не расставалась с вместительной фляжкой коньяку, и любовников у нее было слишком много, что отнюдь не шло ни ей, ни им на пользу. Несколько лет я ее не встречал, потом – с месяц тому назад – столкнулся с нею в Венеции, на углу Пьяцетты. Она была со Стэнли Хопкинсом – одним из тех весьма ловких молодых литераторов, которые никак не решат, что им больше по вкусу – двуполая любовь или однополая? Недавно вышел в свет его роман, уж до того ловко написанный, до того сверхоригинальный, и ультрасовременный, и остроумный, и полный выпадов по адресу людей всем известных, что автор немедленно прославился, особенно в Америке: здесь Хопкинсово беспардонное вранье приняли за чистую монету и (*vide*⁷ отзывы печати) за «потрясающее обличение развращенной британской аристократии». Мы пошли втроем к Флориану есть мороженое; потом Хопкинсу понадобилось что-то купить, и он ушел, оставив нас на полчаса одних. Элизабет очень остроумно щебетала, – имея дело с Хопкинсом, надо быть остроумной, не то помрешь от стыда и унижения, – но даже не заикнулась о Джордже. Джордж – это был скучный эпизод скучного прошлого. Она объявила мне, что они с Хопкинсом не намерены вступать в брак: они не желают мараться, разыгрывать комедию «узаконенного спаривания», но, вероятно, будут и дальше жить вместе. Хопкинс не только преуспевающий романист, но и очень богатый молодой человек – закрепил за нею тысячу фунтов в год, так что они теперь оба «свободны». Элизабет выглядела не более несчастной, чем все наше потрепанное, отравленное цинизмом поколение; но она не расставалась с флягой.

В тот вечер, поддавшись на уговоры, я выпил слишком много коньяку и поплатился за свою глупость бессонной ночью. Но, конечно, в долгие, томительные часы без сна меня не мучила бы так мысль о Джордже, не будь этой неожиданной встречи с Элизабет. Не то чтобы я воздвиг в сердце своем алтарь покойнику, но я убежден, что, кроме меня, ни одна живая душа в целом свете о нем и не вспоминает. Быть может, только я один любил Джорджа бескорыстно, ради него самого. Понятно, в то время, когда он погиб, его смерть не так уж меня поразила – в тот день мой батальон потерял восемьдесят человек убитыми, а потом наступило перемирие, и я распрощался с армией, будь она проклята, и у меня было своих забот по горло – надо было начинать сызнова штатскую жизнь и приниматься за работу. В сущности, первые два-три года после войны я не думал о Джордже. Но потом стал думать, и немало – и, хоть я совсем не суеверен, мне даже стало казаться, что это он сам, Джордж (бедный истлевающий скелет), хочет напомнить мне о себе. Я отчасти знал, отчасти угадывал, что все, на кого он надеялся, его уже забыли или, во всяком случае, не очень-то его оплакивают и удивились бы, но вовсе не обрадовались, вернись он вдруг живым, как те герои романов, которые от контузии теряют память и приходят в себя через семь лет после прекращения военных действий. Отец Джорджа нашел утешение в религии, мать – в своем шейхе, Элизабет – в «неузаконенном спаривании» и коньяке, Фанни – в слезах и браке с художником. А я ни в чем не искал утешения, я тогда не понимал, что смерть Джорджа как-то лично меня касается; чувство это затаилось в душе и терпеливо ждало, пока наступит его черед.

Солдатская дружба в годы войны – это совсем особенная, настоящая, прекрасная дружба, какой теперь нигде не сыщешь, по крайней мере в Западной Европе. Хочу сразу же разочаровать завязтых содомитов из числа моих читателей: решительно заявляю раз и навсегда, что в этой дружбе не было и намека на однополую любовь. Долгие месяцы, даже годы, я жил и спал среди солдат и с некоторыми был дружен. Но ни разу я не слышал ни одного сколько-нибудь двусмысленного предложения; ни разу не видел никаких признаков содомии,

⁷ Смотри (*лат.*).

и никогда ничто не давало мне повода заподозрить, будто подобные отношения существуют. Впрочем, я был с теми, кто воевал. За то, что делалось в тылу, я не отвечаю.

Нет, нет. Тут не было и тени содомии. Это была просто человеческая близость, товарищество, сдержанное сочувствие и понимание, связующее самых обыкновенных людей, измученных одним и тем же страшным напряжением под гнетом одной и той же страшной опасности. Все очень буднично, никакого драматизма. Билл и Том служат в одном взводе, или Джонс и Смит – младшие офицеры в одной роте. Если они – рядовые, они вместе выходят в наряд, в дозор, шагают гуськом на передовую, на смену тем, кто уже отсидел в окопе, выпивают в одном кабаке и показывают друг другу фотографии матери или девчонки. А если они офицеры – встречаются на дежурстве, вместе идут добровольцами на рискованную вылазку, выручают друг друга, если надо соврать высокому начальству, обходятся одним денщиком на двоих, держатся рядом в бою, на отдыхе вместе ездят верхом и застенчиво рассказывают друг другу об оставшихся в Англии невестах или женах. Если их раскидало в разные стороны, они с месяц ходят мрачные, а потом заводят новую дружбу. Но только отношения эти, как правило, очень настоящие, искренние и бескорыстные. Разумеется, такая дружба во Франции бывала крепче, чем в Англии, на фронте – сильнее и глубже, чем в тылу. Наверно, человеку необходимо кого-то любить – совершенно независимо от «любви» чувственной. (Говорят, заключенные в одиночке привязываются к паукам и крысам.) Солдат, а особенно солдат 1914–1918 годов – тот, кто воевал на чужой земле, оторванный от всех близких, от женщин и друзей, и не имел под рукой даже собаки, к которой он мог бы привязаться, – волей-неволей должен был полюбить другого такого же солдата. Но лишь очень немногие остались друзьями после того, как война кончилась.

Я провел семь месяцев во Франции и месяц в отпуске и настроен был достаточно мрачно, когда меня затем отправили в учебный офицерский лагерь, расположенный в живописном, но глухом уголке Дорсета. Я уныло слонялся по лагерю в ожидании обеда (предстояло на время забыть окопные привычки и обедать по всем правилам хорошего тона) и столкнулся с другим таким же неприкаянным. Это был Джордж; его в тот день провожали на поезд Элизабет и Фанни (тогда я этого не знал), и он тоже был мрачнее тучи. Мы перекинулись несколькими словами, причем оказалось, что мы оба из экспедиционного корпуса (почти все остальные были из других частей) и жить будем в одной казарме. Оказалось также, что у нас есть кое-какие общие вкусы, и мы стали друзьями.

Джордж пришелся мне по душе. Начать с того, что он был единственный во всем этом чертовом лагере, кого интересовали не только выпивка, девчонки, гулянки, война, похабные анекдоты и гарнизонные сплетни. Джордж очень увлекался новой живописью. Когда он сам брался за кисть, получалась, по его словам, просто «нестоящая мазня», но до войны он неплохо зарабатывал, печатая в газетах критические заметки о живописи, и получал комисионные, скупая для богатых коллекционеров картины современных художников, главным образом немцев и французов. Мы давали друг другу те немногие книги, которые захватили с собой, и Джордж пришел в восторг, узнав, что я напечатал две книжечки стихов и даже встречался с Йейтсом и Маринетти. Я рассказывал ему о новой поэзии, он мне – о новой живописи; и думаю, мы помогли друг другу сохранить душу живую. Вечерами мы сражались в шахматы, а если погода стояла хорошая, отправлялись побродить. Джорджа не привлекало гулянье с девчонками, меня тоже. Поэтому в субботние вечера и по воскресеньям мы пускались в дальние походы по голым и все же красивым холмам Дорсета, обедали в какой-нибудь сельской гостинице получше и мирно распивали бутылку вина. Все это поддерживало наш «дух», потому что и он и я твердо решили про себя не поддаваться армейскому скотству. Бедняге Джорджу пришлось куда хуже, чем мне. Его больше тиранили, пока он был рядовым, он попал в худшую переделку во Франции, да еще мучился болезненной замкнутостью,

не умел никому довериться – тому виной была нелепая семейная жизнь и его отвратительная мамаша. Без сомнения, он за всю свою жизнь никому столько не рассказывал о себе, так что в конце концов я узнал о нем очень многое, если не все. Он рассказал мне об отце и матери, об Элизабет и Фанни, о своем детстве и о том, как он жил в Лондоне и в Париже.

Да, я полюбил Джорджа, и я ему благодарен, потому что он помогал мне сохранить человеческий облик, тогда как целый легион скотов старался меня растоптать. Конечно, и я ему помогал. Он был непомерно застенчив (мамаша подлейшим образом подорвала его веру в себя) и потому казался холодным и надменным. Но *au fond*⁸ он был человек необыкновенно отзывчивый, непосредственный, немножко Дон Кихот. Потому-то он был так беспомощен с женщинами – они не признают и не понимают донкихотства, неизменной честности и совестливости, им кажется, что это либо слабость, либо маска, под которой скрывается какой-то дьявольски хитрый расчет. Но мужчина, человек, которому только и нужно, чтобы ему отвечали дружбой на дружбу, находил в Джордже обаятельного и верного товарища. Я был страшно рад, когда получил наконец офицерский чин и мог выбраться из этой гнусной дыры – учебного лагеря, но мне от души жаль было расставаться с Джорджем. Мы уговорились писать друг другу и просили назначения в один полк. Разумеется, нас отправили в разные части и, уж конечно, не туда, куда мы просили. Мы обменялись письмами, пока ждали на пересыльных пунктах отправки из Англии, и больше друг другу не писали. Но по странной прихоти военного министерства нас обоих назначили в одну бригаду, хотя и в разные батальоны. Мы обнаружили это почти через два месяца, случайно столкнувшись в штабе.

Вид Джорджа меня поразил, лицо у него было измученное, чуть ли не испуганное. Несколько раз я с ним встречался – то во время смены на позициях, то в штабе бригады, то в дивизионных тылах на отдыхе. В мае 1918-го он казался совсем издерганным. В июле нашу дивизию перебросили на Сомму, но накануне отправки противник ночью атаковал расположение роты Джорджа, и это подействовало на него прескверно. С батальонного наблюдательного пункта (я был тогда офицером связи) я видел, какой огонь обрушился на тот участок, но не подозревал, что Джордж там. Несколько человек из его роты попали в плен, бригадный генерал изрядно раскричался, и это совсем перевернуло Джорджа. Я уговаривал его подать рапорт об отпуске, но он и слушать не хотел, ему казалось, что все его презирают и считают трусом.

В последний раз, как я уже говорил, я видел его в Эрми, в октябре 1918-го. Я вернулся из окопов и застал Джорджа в тыловом дивизионном лагере. В дежурке было свалено несколько парусиновых коек, и Джордж притащил одну для меня. Ночью, в темноте, во время воздушных налетов он говорил без умолку – мне казалось, это длится часами, – и я всерьез подумал, что он потерял рассудок... Наутро мы разошлись по своим батальонам, и больше я его не видел.

Джордж был убит ранним утром четвертого ноября 1918 года на дороге, ведущей из Ле Катов Баве. Он – единственный офицер, убитый в том бою: и часу не прошло, как часть немцев побежала, а остальные сдались. Вечером я услышал о случившемся, и, поскольку пятого бригаду отвели на «отдых», мой полковник разрешил мне вернуться на похороны Джорджа. Командир полка, где служил Джордж, рассказал мне, что его срезала пулеметная очередь. Вся его рота залегла, выжидая, пока летучий отряд минометчиков разделается с вражеским пулеметом, и вдруг, непонятно зачем, Джордж поднялся во весь рост, и его прошило добрым десятком пуль. «Экий остолоп», – сказал в заключение полковник и кивком простился со мной.

Гроб достать было невозможно. Джорджа завернули в одеяло и в британский флаг. У изголовья могилы стоял священник, по одну сторону – похоронная команда из солдат

⁸ По существу (*фр.*).

и сержантов роты Джорджа, напротив – офицеры его батальона. С ними, крайним слева, стал и я. Капеллан отчетливо и с чувством прочел заупокойную молитву. Артиллерийский обстрел в это время почти утих. Только одна батарея наших тяжелых орудий, расположенная примерно на милю ближе к противнику, размеренно ухала, точно отдавая последний салют. Мы стали по стойке смирно, и тело опустили в могилу. Офицеры по очереди делали шаг вперед, отдавали честь и отходили. Потом проиграли вечернюю зорю – надрывающий душу, пронзающий сердце прощальный сигнал, в котором так беспощадно сменяют друг друга короткие, прерывистые вздохи и протяжные, скорбные рыдания. Не скрою, в эти минуты у меня не раз подступал ком к горлу. Можно как угодно честить армию, но когда умрешь, она обходится с тобой как с человеком... Солдатам дали команду рассчитаться, вздвоить ряды, и – правое плечо вперед – они зашагали восвояси; а офицеры побрели в столовую выпить...

Смерть героя! Какая насмешка, какое гнусное лицемерие! Мерзкое, подлое лицемерие! Смерть Джорджа для меня – символ того, как все это мерзко, подло и никому не нужно, какая это треклятая бессмыслица и никому не нужная пытка. Вы видели, как приняли смерть Джорджа самые близкие ему люди – те, кто его породил, и те женщины, что его обнимали. Армия исполнила свой долг, но разве может армия оплакать каждого из миллионов «героев» в отдельности? Как могла та частица армии, которая знала Джорджа, оплакать его? На рассвете следующего дня мы уже гнались по пятам за отступающим противником и не оставались до того самого дня, когда было заключено перемирие, – а потом каждому пришлось разбираться в путанице собственной судьбы и как-то налаживать свою жизнь.

В ту ночь в Венеции Джордж и его смерть стали для меня символом – и остаются символом поныне. Так или иначе мы должны примириться с миллионами смертей, должны искупить их, должны как-то успокоить убитых. Как это сделать, я и сам не знаю. Да, конечно, есть две минуты молчания. Но в конце концов, две минуты молчания за целый год – не так-то много, в сущности – ничто. Искупление... а как нам это искупить? Как искупить эту потерю – миллионы и миллионы лет жизни, озера и моря крови? Что-то осталось незавершенным – и это отравляет нас. Я, во всяком случае, отравлен, хоть меня и терзало все это, как терзает сейчас гибель бедняги Джорджа, из-за которого не терзалась, кроме меня, ни одна живая душа. Что же нам делать? Могильные плиты, надгробия, и венки, и речи, и лондонский Памятник павшим воинам... нет, нет, тут должно быть что-то другое, что-то внутри нас. Мы должны как-то искупить нашу вину перед мертвыми – перед убитыми, перед умерщвленными солдатами. Не они требуют этого, но что-то в нас самих. Большинство из нас этого не сознает, но совесть мучит нас, угрызения совести отравляют. Этот яд разъедает душу – в нас не осталось ни сердца, ни надежды, ни жизни, – такими стали и мы, военное поколение, и поколение, идущее нам на смену. Весь мир виновен в кровавом преступлении, весь мир несет на себе проклятие, подобно Оресту, и обезумел, и сам стремится к гибели, точно гонимый легионом Эвменид. Мы должны как-то искупить свою вину, должны избавиться от проклятия, лежащего на тех, кто пролил кровь. Должны найти – где? как? – новую могущественную Афину Палладу, которая возвысила бы голос, оправдывая нас на каком-то новом Акрополе. Но пока мертвые отравляют нас и тех, кто идет за нами.

Вот почему я рассказываю о жизни Джорджа Уинтерборна – о человеческой единице, об одном только убитом, который, однако, стал для меня символом. Это отчаянная попытка искупить вину, искупить пролитую кровь. Быть может, я делаю не то, что нужно. Быть может, яд все равно останется во мне. Если так, я буду искать иного пути. Но я буду искать. Я знаю, что меня отравляет. Не знаю, что отравляет вас, но и вы тоже отравлены. Быть может, и вы тоже должны искупить вину.

Часть первая

Vivace

1

Совсем другая Англия – Англия 1890-го года – и, однако, на удивление та же. В чем-то неправдоподобная, бесконечно далекая от нас; а во многом – такая близкая, до ужаса близкая, сегодняшняя. Англия, чей дух окутан плотными туманами лицемерия, благополучия, ничтожности. Уж так богата эта Англия, уж такая это могущественная морская держава! А ее оптимизм, способный посрамить даже Стивенсона, а ее праведное ханжество! Королева Виктория оседлала волю народа; имущие классы прочно уселись на шее народа. В рабочем классе понемногу начинается брожение, но он еще слишком напичкан проповедями Муди и Сэнки, еще весь под властью Золотого Правила: «Не забывай, Берт, дорогой мой, в один прекрасный день ты можешь стать во главе нашего предприятия». На мелких буржуа, особенно на торговое сословие, деньги сыплются прямо как из рога изобилия, и они «молят Господа – да продлит он наше беспримерное процветание». Аристократия пока еще петушится и не унывает. Еще в большом почете Знатность и Богатство, – Диззи умер не так давно, и его романы еще не кажутся смехотворно старомодными, какой-то нелепой пародией. Интеллигенция эстетствует и поклоняется Оскару, или эстетствует и поклоняется Берн-Моррису, или исповедует утилитаризм и поклоняется Хаксли с Дарвином.

Отправимся туда, где выпивка дешевле,
Где я на фунт в неделю роско-о-шно проживу.

В мире столько всякой всячины,
И мы, конечно, будем счастливы.

Консоли опять поднялись в цене.

Лорд Клод Гамильтон возглавляет Адмиралтейство – и они с Уайтом строят, строят, строят.

Строят величественные развалины.

Джордж Мур – изящный скандал в двучолке; Харди – пасторально-атеистический скандал (никто еще не понял, что он смертельно скучен); Оскар исполнен небрежного высокомерия – и ах, как остроумен, и ах, как разодет!

Дивная старая Англия. Да поразит тебя сифилис, старая сука, ты нас отдала на съедение червям (мы сами отдали себя на съедение червям). А все же – дай оглянуться на тебя. Тимон Афинский видел тебя насквозь.

Уинтерборны не принадлежали к дворянскому роду, но лелеяли легенду о каком-то былом великолепии, о каких-то никогда не существовавших благородных предках. А впрочем, это была буржуазная семья со средствами, и жилось им уютно. Когда-то обитали в Вустершире, затем переселились в Шеффилд. По женской линии принадлежали к методистской церкви, по мужской – к церкви англиканской. Молодому Джорджу Огесту – отцу нашего Джорджа – жилось уютно. Его мамаша, властная старая сука, задавила в сыне всякое мужество и самостоятельность, но в восьмидесятых годах прошлого века почти ни у кого не хватало ума посылать таких мамаш ко всем чертям. И Джордж Огест этого не сделал.

Пятнадцати лет он сочинил религиозный трактат, в котором послушно изложил взгляды своей дражайшей матушки (и трактат был напечатан). Также в полном согласии со взглядами дражайшей матушки он стал первым учеником в классе. Ему очень хотелось поступить в Оксфорд, но он отказался от этой мысли: дражайшая матушка полагала, что это непрактично. И он сдал экзамены на поверенного: дражайшая матушка полагала, что ему нужна профессия и что в семье не мешает иметь своего юриста. Джордж Огест был третий сын своих родителей. Старший сын стал методистским священником, так как дражайшая матушка в первую брачную ночь и все время первой беременности молила Господа Бога наставить ее (разумеется, она никогда никому, даже собственному супругу, не обмолвилась об этих неприличных обстоятельствах, но она и впрямь молила Господа Бога наставить ее) – и на нее снизошло откровение: ее первенец должен принять сан. Вот он и принял сан, бедняга. Второй был живой, бойкий малый – дражайшая матушка сделала его совершенным бездельником. Оставался Джордж Огест, маменькин любимчик, которого она учила молиться Боженьке, а добрейший папаша сек аккуратно раз в месяц, ибо в Писании сказано: кто пожалеет розгу – испортит чадо свое. Добрейший папаша не имел определенных занятий, проживал свое состояние, вечно был в долгах и провел последние пятнадцать лет своей жизни, вознося в саду молитвы Богу англиканскому, пока дражайшая матушка у себя в спальне возносила молитвы Богу Джона Уэсли. Дражайшая матушка восхищалась милым благочестивым мистером Брайтом и великим мистером Гладстоном; добрейший же папаша собирал и даже прочел все труды достопочтенного и высокоблагородного графа Биконсфилда, кавалера ордена Подвязки.

И все же Джорджу Огесту жилось уютно. А он больше ни о чем и не мечтал – лишь бы чувствовать себя уютно. В двадцать четыре года он стал самым настоящим дипломированным стряпчим, и тогда состоялся семейный совет. Присутствовали: дражайшая матушка, добрейший папаша, Джордж Огест. Никакой официальности, разумеется, – просто милая беседа в тесном семейном кругу после чаепития, у пылающего камина (в ту пору уголь в Шеффилде был дешев), репсовые занавеси задернуты, и в воздухе – ощущение мирного семейного счастья. Добрейший папаша открыл заседание:

– Ну, Джордж, ты уже взрослый. Мы с твоей дорогой мамочкой принесли большие жертвы, чтобы открыть перед тобой Поприще. Теперь ты – дипломированный адвокат, и мы гордимся, – ведь правда, мамочка, мы гордимся? – что у нас в семье есть свое юридическое светило...

Но разве могла дорогая мамочка уступить добрейшему папочке хотя бы подобие власти, хотя бы крохи почета в рамках Ограниченной Семейной Монархии? Она немедленно вмешалась:

– Твой папа совершенно прав, Джордж. Теперь вопрос в том, как ты намерен подвизаться на своем Поприще?

Мелькнула ли в бойком уме юного Джорджа Огеста робкая мысль о бегстве? Или привычка к уютному житишку и боязнь ослушаться дражайшей маменьки уже взяли в нем верх? Он пробормотал что-то о том, что хотел бы вступить в какую-нибудь старую, уважаемую адвокатскую контору в Лондоне. При слове «Лондон» дражайшая матушка встала на дыбы. Правда, в Лондоне почти постоянно пребывает мистер Гладстон, однако всем почтенным шеффилдским методистам хорошо известно, что Лондон – гнездилище порока, что там полным-полно театров и неприличных женщин. А кроме того, дражайшая матушка вовсе не собиралась так просто выпустить Джорджа Огеста из рук; нет-с, пускай его потрудится, пускай в поте лица доказывает, что он и вправду почтительный сын.

– Нет, Джордж, о Лондоне я и слышать не хочу. Если ты в этом ужасном городе собьешься с пути истинного, мое сердце будет разбито и горе сведет в могилу твоего убеленного сединами отца (добррейший папаша терпеть не мог, когда ему напоминали о его лысине).

Подумай, каково нам будет услышать, что ты бываешь в театре!! Нет, Джордж, мы останемся верны родительскому долгу. Мы воспитали тебя в страхе Божиим, и ты должен остаться истинным христианином... – И пошла, и пошла...

Ну и, разумеется, драгоценный Джордж Огест не поехал в Лондон. Он даже не завел собственной конторы в Шеффилде. Сошлись на том, что он никогда не женится (если не считать двух-трех шлюх, с которыми он тайком и не очень удачно имел дело во время своих тайных и не очень удачных кутежей в Лондоне, Джордж Огест все еще был девственником), – нет, он будет всегда жить подле дражайшей матушки, а также (об этом вспомнили в последнюю минуту) подле добрейшего папаша. Итак, дом немного перестроили. Пробыли отдельный ход, и на новенькой двери появилась новенькая медная табличка, на которой было выгравировано:

ДЖ. О. УИНТЕРБОРН

Адвокат

Джорджу Огесту были отведены три комнаты, в какой-то мере обособленные от остальной части дома, – спальня, «приемная» и «миленький рабочий кабинетик». Надо ли объяснять, что у Джорджа Огеста почти не было практики, если не считать тех редких случаев, когда его дражайшая матушка в порыве честолюбия добивалась, чтобы какая-нибудь ее приятельница поручила ему составить завещание или документ о передаче земельного участка в дар новой методистской часовне. Каким образом Джордж Огест убивал все остальное время, сказать трудно: должно быть, считал ворон, читал Диккенса и Теккерея, Булвера и Джорджа Огеста Сала.

Так продолжалось года три-четыре. Дражайшая матушка помыкала Джорджем Огестом без зазрения совести; она присосалась к нему, как упырь, и была очень довольна жизнью. Добрейший папаша возносил в саду молитвы, читал романы достопочтенного, высокогородного и прочая и был относительно доволен жизнью. Джорджу Огесту жилось уютно, и он воображал себя ужасным повесой, потому что изредка ему удавалось улизнуть из дому и побывать в театре или провести времечко с шлюхой и потихоньку приобрести какое-нибудь издание Визетелли. Но был тут один подводный камень, которого не предвидела дражайшая матушка. Добрейший папаша в юности получил весьма приличное воспитание и образование; каждый год он на месяц-другой отправлялся путешествовать, повидал и поле Ватерлоо, и Париж, и Рамсгейт. После того как он сочетался браком с дражайшей матушкой, ему пришлось довольствоваться Мэлверном и Рамсгейтом, ибо отныне ему уже не разрешалось ступать на греховную землю континента. Однако так велика сила традиций, что Джорджу Огесту ежегодно предоставлялся месяц каникул. В 1887 году он побывал в Ирландии; в 1888-м – в Шотландии; в 1889-м – в краю озер и совершил паломничество к «святым местам», где упокоились два немеркнущих гения – Вордсворт и Саути. Но в 1890 году Джордж Огест совершил паломничество в «патриархальный Кент», в край, где находилось поместье Дингли Делл и где упокоился сэр Филипп Сидней. А в патриархальном Кенте обитали сирены, подстерегавшие нашего Одиссея. Джордж Огест познакомился с Изабеллой Хартли и оглянуться не успел, как уже бесповоротно обязался жениться на ней – *не спросясь* у дражайшей матушки. *Nic incipit vita nova*⁹. Так появился на свет Джордж Уинтерборн-младший.

⁹ Так начинается новая жизнь (лат.).

Семейство Хартли, вероятно, было куда забавнее Уинтерборнов. Уинтерборны за всю свою жизнь палец о палец не ударили и уж до того были чопорно, тошнотворно, слащаво-ханжески скучны... тошнотворней и скучнее не бывало и не найдется в наши дни семейства – не скажу живого или хотя бы чувствующего, но во всяком случае способного переваривать свои неизменные пудинги. Хартли – совсем другое дело. Это была заурядная семья небогатого армейского офицера. Папа Хартли обрыскал всю Британскую империю и повсюду таскал с собою маму Хартли, вечно брюхатую и вечно разрешавшуюся от бремени в самых неудобных и неподходящих местах – в пустыне египетской, на тонущем военном корабле, среди малярийных болот Вест-Индии, по дороге в Кандахар. У них было немислимое количество детей – умерших, умирающих и выживших, любого возраста и пола. В конце концов старик Хартли со своей тощей пенсией, крохотным «личным» доходом и оравой потомков, громоздящейся на его отнюдь не могучей шее, решил осесть в патриархальном Кенте, где жила родня его жены. Мне кажется, он был женат раза два или три, и все его жены оказались ужасно плодовитыми. Без сомнения, предыдущие миссис Хартли погибли от чрезмерно обильного деторождения, от «сверхплодовитости».

Изабелла Хартли была одной из дочерей капитана Хартли – не спрашивайте, которой по порядку и от которой из жен. Она была очень хорошенькая, бывает такая вот броская и немножко вульгарная красота: мнимо-наивные карие глазки и ослепительная улыбка, прелестный турнюрик, оборочки, «свежий румянец», «вся так и пышет здоровьем». Даже не очень-то искушенному Джорджу Огесту она казалась восхитительно невежественной. И при этом характер еще покруче, чем у дражайшей матушки, и вдобавок – великолепная, непревзойденная жизнеспособность, которая заморозила, ошеломила, взвинтила размазню Джорджа Огеста, любителя уютного житьишка. Никогда еще не встречал он подобной девушки. По правде сказать, дражайшая матушка и не позволяла ему ни с кем встречаться, кроме рыхлых методистских дам средних лет да «очень милых» юнцов и девиц, отличающихся примерным, чисто методистским тупоумием и вялостью.

И Джордж Огест влюбился без памяти.

Он остановился в деревенской гостинице, недорогой и вполне уютной, и жил в свое удовольствие. В эти свои каникулы он (подсознательно) был так счастлив вырваться из-под маменькиного надзора, что чувствовал себя настоящим героем Булвера-Литтона. Мы сказали бы, что он распускает хвост; в начале девяностых годов, наверно, сказали бы, что он стал завзятым сердцедедом. Во всяком случае, он покорило сердце Изабеллы.

Хартли не распускали хвост. Они и не пытались скрыть ни свою бедность, ни вульгарность, которую внесла в семью третья (или, может быть, четвертая) миссис Хартли. Они обожали свинину и с благодарностью принимали от всех овощи и фрукты – дары, которые наши добросердечные провинциалы чуть ли не силой навязывают своим небогатым соседям. Они и сами возделывали обширный огород, фруктовый сад и разводили свиней. Они варили впрок варенье из сливы и черной смородины и обшаривали всю округу в поисках грибов; и в доме не знавали никаких «напитков», если не считать «капельку грога», которой папа Хартли втайне позволял себе полакомиться поздно вечером, дождавшись, пока его бесчисленные чада улягутся по трое, по четверо в одну постель.

Итак, Джорджу Огесту нетрудно было распускать хвост. Он ухитрился провести всех, даже Изабеллу. Он рассуждал о «моих предках» и о «нашем загородном доме». Он рассуждал о своем Поприще. Он преподнес семейству Хартли несколько экземпляров методистского трактата, опубликованного им в пятнадцать лет. Он преподнес маме Хартли четырнадцатифунтовую банку дорогого (два шиллинга три пенса за фунт) чаю, по которому она вздыхала с тех самых пор, как они уехали с Цейлона. Он покупал Изабелле сказочные подарки – коралловую брошку, «Путь паломника» в деревянном переплете (из дерева от двери приход-

ской церкви, где некогда проповедовал Джон Беньян), индейку, годовую подписку на «Приложение к Вестнику семьи», новую шаль, шоколадные конфеты по шиллингу шесть пенсов коробка, – и возил ее кататься в открытом ландо, которое пропахло овсом и лошадиной мочой.

Хартли вообразили, что он богат. Джордж Огест чувствовал себя до того уютно и был до того exalté¹⁰, что и сам всерьез вообразил себя богачом.

Однажды вечером – то был прелестный сельский вечер, лимонно-золотистая луна освещала прелестные, девически нежные и округлые линии холмов и равнин, соловьи, как безумные, свистали и шелкали в листве, – Джордж Огест поцеловал Изабеллу в густой тени живой изгороди и – храбрый малый – просил ее стать его женой. У Изабеллы, которая уже тогда отличалась пылким темпераментом, все-таки хватило ума не ответить поцелуем на поцелуй и не дать Джорджу Огесту понять, что и до него иные «славные малы» целовали ее, а может быть, пробовали зайти и подальше. Она отвернулась, так что он не видел ее лица, а только хорошенькую темноволосую головку, причесанную à la маркиза Помпадур, и прошептала – да, именно прошептала, недаром она читала повести и рассказы, печатавшиеся в «Домашнем очаге» и «Вестнике семьи»:

– Ах, мистер Уинтерборн, это так неожиданно!

Но затем здравый смысл и желание стать богачкой взяли верх над жеманством, почерпнутым из «Домашнего очага», и она промолвила (уж так тихо и скромно!):

– Я согласна!

Джордж Огест затрепетал от волнения, заключил Изабеллу в объятия, и они долго целовались. Она нравилась ему куда больше, чем лондонские шлюхи, но он осмелился только на поцелуи, не более того.

– Я люблю тебя, Изабелла! – воскликнул он. – Будь моей! Будь моей женой и свей для меня гнездышко. Проведем нашу жизнь в опьянении счастья. О, если бы я мог сегодня с тобой не расставаться!

По дороге домой Изабелла сказала:

– Завтра ты должен поговорить с папой.

И Джордж Огест, который чем-чем, а уж джентльменом-то был во всяком случае, продекламировал в ответ:

Я не любил бы так тебя,
Не возлюбил я честь превыше.

Наутро, как полагается, Джордж Огест явился к папе Хартли с бутылкой портвейна за три шиллинга шесть пенсов и со свежим окороком; долго он мычал, и краснел, и ходил вокруг да около (как будто старик Хартли не слышал от Изабеллы, о чем пойдет речь!) – и наконец весьма торжественно и церемонно предложил взять на себя заботу о благополучии Изабеллы до той поры, пока смерть их не разлучит.

Быть может, папа Хартли отказал ему? Быть может, заколебался? С величайшей готовностью, с радостью, с восторгом и упоением он тут же дал согласие. Он хлопнул Джорджа Огеста по плечу – это чисто солдатское изъявление дружеской благосклонности удивило и слегка покорило чопорного Джорджа Огеста. Папа Хартли объявил, что Джордж Огест ему по душе, – именно такого человека он сам выбрал бы в мужа своей дочери, именно такой человек составит ее счастье, именно о таком зяте он, папа Хартли, всегда мечтал. Он рассказал два казарменных анекдота, отчего Джордж Огест приятно засмутился, выпил два полных стакана портвейна и затем пустился рассказывать длиннейшую исто-

¹⁰ Восторженно настроен (*фр.*).

рию о том, как во время Крымской войны, будучи в чине прапорщика, он спас британскую армию. Джордж Огест слушал терпеливо, с истинно сыновним почтением; но проходили часы, а истории все не видно было конца, и он решился намекнуть, что надо бы сообщить добрую весть Изабелле и маме Хартли, которые (оба джентльмена об этом и не подозревали) подслушивали у замочной скважины, изнывая от нетерпения.

Итак, дам пригласили в комнату, и папа Хартли произнес небольшую речь в стиле старого генерала Скутера, кавалера ордена Бани, а затем папа поцеловал Изабеллу, и мама со слезами радости и восторга обняла Изабеллу, и папа чмокнул маму, и Джордж Огест поцеловал Изабеллу; и перед обедом их на полчаса оставили вдвоем – обед подавался в половине второго и состоял из отбивных котлет, картофеля, бобов, фруктового пудинга и пива.

Хартли все еще воображали, что Джордж Огест богат.

Однако, прежде чем покинуть патриархальный Кент, ему пришлось написать отцу и попросить десять фунтов, так как у него не было уплачено по счету в гостинице и не осталось денег на обратную дорогу. Он извещал добрейшего папашу о своей помолвке с Изабеллой и просил осторожно сообщить эту новость дражайшей матушке. «Отец моей невесты – старый воин, – писал Джордж Огест, – а сама она – прелестнейшая, чистейшая девушка, она нежно любит меня, а я ради нее готов сражаться, как тигр, и с радостью отдам за нее жизнь». Он ни словом не упомянул о том, что у Хартли нет ни гроша, что они вульгарны и алчны, что у них куча детей. Добрейший папаша совсем было вообразил, что Джордж Огест женится на наследнице знатного рода.

И добрейший папаша выслал Джорджу Огесту десять фунтов и осторожно сообщил дражайшей матушке о помолвке сына. Против всякого ожидания, она не слишком взбеленилась. Быть может, она даже на расстоянии почуяла неукротимую волю и решительность Изабеллы? Или подозревала, что сын потихоньку распутничает, и рассудила, что лучше уж законный брак, чем беготня к девкам? Возможно, она надеялась помыкать не только Джорджем Огестом, но и его женой, а ведь две жертвы куда приятнее, чем одна.

Она всплакнула и в этот вечер дольше обычного читала молитвы.

– Знаешь, папочка, – сказала она, – по-моему, нашим сыном руководило само провидение. Надеюсь, мисс Изабелла будет ему хорошей женой и не сочтет ниже своего достоинства штопать ему носки и смотреть за прислугой, хоть она и офицерская дочь. И конечно, молодые должны жить здесь, у нас; поначалу я сама с удовольствием буду наставлять их в правилах семейной жизни и позабочусь, чтобы жена Джорджа была истинной христианкой. Бог да благословит их обоих!

Добрейший папаша – в конце концов, он был не так уж плох – сказал только; «Гм!» – и написал Джорджу Огесту вполне достойное письмо; он обещал сыну двести фунтов, чтоб было с чем начинать семейную жизнь, и советовал провести медовый месяц в Париже или, может быть, на поле Ватерлоо.

Свадьбу сыграли весной в патриархальном Кенте. На торжество съехалось множество Уинтерборнов, в том числе, разумеется, родители Джорджа. Дражайшая матушка с ужасом, чтобы не сказать с омерзением, убедилась, что Хартли ведут себя «неприлично, да, да, неприлично!» – и даже добрейший папаша был несколько ошеломлен. Но отступить без скандала было уже невозможно.

Провинциальная свадьба в 1890 году! О боги наших предков, что за зрелище! Увы, какая жалость, что в ту пору еще не изобрели кинематографа! Попробуйте представить себе это воочию. Обросшие бакенбардами старики в допотопных цилиндрах; старухи в турнюрах и чепцах. Молодые люди с обвислыми усами, с пышными бантами вместо галстука и, надо думать, в серых цилиндрах. Молодые женщины в кокетливых турнюрчиках и шляпках с цветами. И подружки невесты в белых платьях. И шафер. И Джордж Огест, вспотевший

в своей новой визитке. И Изабелла – разумеется, «сияющая», в белом платье и с флёрдо-ранжем. И приходский священник, и подписание брачного контракта, и свадебный завтрак, и праздничный перезвон колоколов, и «отбытие»... Нет, это слишком горько, это так ужасно, что даже не смешно. Это непристойно. Я от души жалею Джорджа Огеста и Изабеллу, особенно Изабеллу. Что говорили колокола? «Спешите видеть! Спешите видеть!»

Но Изабелла – это дрянцо – наслаждалась чудовищной церемонией. И подробно описала ее в письме к одному из своих «приятелей», которого она, в сущности, любила, но которому дала отставку ради «богатств» Джорджа Огеста.

«...День был пасмурный, но когда мы преклонили колена пред алтарем, солнечный луч проник в окно церкви и любовно осенил наши склоненные головы...»

Как дошли они до такого несусветного вздора? Но они дошли, дошли, дошли. И во все это они верили. Хоть бы они не принимали этого всерьез – тогда не все для них было бы потеряно. Но нет. Они верили в тошнотворный слащавый, лицемерный вздор, верили. Верили со всей сверхчеловеческой силою, на какую способно невежество.

Возможно ли измерить всю глубину невежества Джорджа и Изабеллы в час, когда они связали себя клятвой не расставаться, пока не разлучит их сама смерть?

Джордж Огест не знал, как зарабатывать на жизнь; понятия не имел о том, как общаться с женщиной; не знал, как жить с женщиной под одной крышей, не знал, как спать с женщиной, – даже хуже, чем просто не знал, потому что опыт, приобретенный им в общении с шлюхами, был скудный, гнусный и омерзительный; он не знал, как устроено его собственное тело, не говоря уже о теле женщины; представления не имел о том, как избежать зачатия;.....не знал, что означает понятие «нормальная половая жизнь»;.....не знал, что беременность – это болезнь, которая тянется девять месяцев; не подозревал, что роды должны стоить денег, иначе женщине не миновать тяжких страданий; не знал и не понимал, что женатый человек, который зависит от своих родителей и родителей жены, постыдно жалок и смешон; не знал, что заработать деньги на безбедное существование не так-то легко, даже если перед тобою и открыто Поприще; даже и здесь, на этом поприще – в профессии адвоката – его познания были весьма ограничены; он очень плохо разбирался в условиях человеческого существования и совсем не разбирался в человеческой психологии; ничего не смыслил ни в делах, ни в деньгах, – умел только их тратить; понятия не имел о том, как содержать дом в чистоте, сколько стоит провизия, как держать в руках топор или молоток, как обставить квартиру, не умел делать покупки, растопить камин, прочистить трубу, чтоб не загорелась сажа, не знал высшей математики, греческого языка, не умел браниться с женой, делать хорошую мину при плохой игре, накормить младенца, играть на рояле, танцевать, заниматься гимнастикой, не умел открыть банки консервов, сварить яйцо, не знал, с какой стороны ложиться в постель, когда спишь с женщиной, не умел разгадывать шарады, обращаться с газовой плитой, не знал и не умел еще великого множества вещей, которые необходимо знать и уметь женатому человеку.

Должно быть, скучнейшая была личность.

Что до Изабеллы – почти все человеческие знания оставались для нее книгой за семью печатями. Поистине загадка – что же она все-таки знала? Она даже не знала, как покупать себе платья, – мама Хартли всегда делала это за нее. Среди многого другого она не знала, в частности, как и почему рождаются дети; как спать с мужем; как притворяться, что при этом испытываешь наслаждение, когда на самом деле его не испытываешь; не умела шить, стирать, стряпать, мыть полы, вести хозяйство, покупать провизию, подсчитывать расходы, добиться послушания от горничной, заказать обед, рассчитать кухарку, определить, чисто ли убрана комната; не умела управляться с Джорджем Огестом, когда он не в духе; дать ему пилюлю, когда у него разыграется печень; кормить, купать и пеленать младенца; принимать гостей и отдавать визиты; вязать, вышивать, печь; отличить свежую селедку от про-

тухшей и телятину от свинины; не знала, что не следует готовить на маргарине; не умела толком постелить постель; следить за собственным здоровьем, особенно во время беременности; отвечать с кротостью, дабы отвратить гнев, как сказано в Писании; содержать дом в порядке... не счесть всего, чего еще она не знала и не умела и что непременно надо знать и уметь замужней женщине.

(Право, не знаю, как бедняга Джордж вообще ухитрился появиться на свет.)

Впрочем, и Джордж и Изабелла умели читать и писать, молиться Богу, есть, пить, умыться и наряжаться по воскресным дням. И оба неплохо знали Библию и молитвенник.

И потом, у них была «ах-любовь»! Они «ах-любили» друг друга. Любовь – это главное, она возместит всю глупость и невежество, она будет кормить и поить их, усеет их путь розами и фиалками. Ах-любовь и Бог. Потерпит неудачу любовь – останется Бог, не преуспеет Бог – останется ах-любовь. По всем правилам, я полагаю, Бог должен бы стоять на первом месте, но в 1890 году брак состоял сплошь из ах-любви и Бога, так что было уже не до здравого смысла, не до азбучных истин и сведений о том, что такое пол, и не до каких-либо иных сведений, которые мы, мерзкие современные декаденты, считаем обязательными для всех мужчин и женщин. Прелестная Изабелла, дорогой Джордж Огест! Они были уж так молоды, уж так невинны, уж до того чисты! И разве, по-вашему, адские муки – не слишком слабое возмездие для безмозглых слюнвявых лицемеров обоего пола, в устрашающих бакенбардах или в пышных чепцах, – для тех, кто послал эту пару навстречу ее судьбе? О Тимон, Тимон, почему не дано мне твое красноречие! Кто осмелится, – где тот зрелый муж, что, не кривя душой, осмелится встать и сказать.....? Не дайте мне сойти с ума, о боги, не дайте мне сойти с ума.

Медовый месяц они провели не в Париже и не на поле Ватерлоо, а на одном из курортов Южного побережья, в прелестном уголке, где Изабелла всегда мечтала побывать. Им надо было проехать десять миль лошадьми до железной дороги и затем два часа поездом, который останавливался на каждой станции. Усталые, смущенные, разочарованные, они наконец очутились в скромной, но почтенной гостинице, где заранее заказан был двойной номер.

Первая брачная ночь жестоко обманула их надежды. Впрочем, этого и следовало ожидать. Джордж Огест старался быть пылким и восторженным, но оказался неуклюжим и грубым. Изабелла старалась быть скромно послушной и покорной, а была просто неловкой. Джордж Огест неумело изнасиловал ее, доставив много лишних, бессмысленных страданий. И, как многие прелестные новобрачные в доброй старой Англии в золотые дни славной королевы Викки, она долгие часы лежала без сна, вытянувшись на спине, рядом с храпящим Джорджем Огестом и думала, думала, и слезы медленными ручейками стекали у нее по вискам на подушку...

Это слишком мучительно, поистине слишком мучительно – вся эта дурацкая «чистота», и лицемерие, и ах-любовь, и невежество. И глупые невежественные девушки, отданные во всем своем прелестном неведении невежественным и неловким молодым людям, которые, по своему невежеству, мучают и терзают их. Слишком больно об этом думать! Бедная Изабелла! Какое посвящение в тайны супружества!

Но, разумеется, у этой ужасной ночи были последствия. Прежде всего она означала, что брак законным образом завершился и не может быть расторгнут без вмешательства суда по бракоразводным делам, – уж не знаю, можно ли было добиться развода в золотые дни великого мистера Гладстона, да благословит его Бог и да будет ему жарко в аду. И затем она привела к тому, что Изабелла до конца дней своих старалась избегать физической близости с Джорджем Огестом; а так как она была женщина отнюдь не холодная, будущее оказалось чревато двадцатью двумя любовниками. И наконец, Изабелла была здорова, насколько

может быть здоровой молодая женщина, вынужденная затягиваться в невыносимо тугие корсеты и носить, в ущерб чистоте и пользе, длиннейшие волосы и длиннейшие юбки и весьма смутно представляющая себе, что такое гигиена пола, – а потому эта *nuit de rêve*¹¹ наградила ее первым ребенком.

2

Младенца нарекли Эдуард Фредерик Джордж: Эдуард – в честь принца Уэльского (впоследствии его величество король Эдуард VII), Фредерик – в честь деда, Джордж – в честь отца.

Изабелла хотела назвать его Джордж Хартли, но дражайшая матушка позаботилась о том, чтобы от Хартли в *ее* внуке было поменьше.

Тягостно думать о том, как Изабелла и Джордж Огест провели первые годы совместной жизни. Она началась обманом – прежде всего потому, что к этому принудили их родители и общественные условности; к сожалению, они и дальше строили ее на обмане. Обоих не только жестоко разочаровала та ужасная ночь после свадьбы, обоим отчаянно надоел весь медовый месяц. На этом прелестном курорте, о котором так мечтала Изабелла, скука царилла смертная. Джордж Огест даже самому себе не хотел признаться, что к роли мужа он почти так же плохо подготовлен, как к обучению белых мышей военным маневрам. Изабелла в глубине души понимала, что первый шаг оказался жестоким провалом, – понимала скорее чутьем, чем рассудком, – но самолюбие заставляло ее молчать. Она прекрасно понимала, что в провале обвинят ее же и что ей не от кого ждать сочувствия, меньше всего – от своих родных. Разве не вышла она «счастливо» замуж за человека, который ее ах-полюбил, – ах, брак по любви! – да еще за богача? Итак, она утешала себя мыслью, что Джордж Огест богат, и оба они, как и положено в медовый месяц, писали восторженные лживые письма родным и знакомым. А раз ступив на путь, уводящий прочь от честности и уменья смотреть правде в глаза, они попались на всю жизнь – теперь они тоже обрекли себя на безрадостное существование во лжи и ах-любви. Уж эта болтовня о Боге и о любви! Родители Изабеллы вечно грызлись между собой – как это не послужило ей предостережением? Как не замечал Джордж Огест, что под тонкой пленкой благочестия и супружеского согласия, будто бы связующего дражайшую матушку и добрейшего папашу, кипит ключом неукротимая ненависть? Почему никто из них не попытался вырваться и устроить свою жизнь как-то иначе и хоть немного лучше? Но нет, они пошли по проторенной дорожке: у них есть ах-любовь, есть Бог, а стало быть, все будет к лучшему в этом лучшем из миров.

Пока длился медовый месяц, Джордж Огест продолжал разыгрывать богача. За неделю до свадьбы ему впервые в жизни разрешили открыть собственный текущий счет в банке. Добрейший папаша положил на его имя двести фунтов, но дражайшей матушке они с Джорджем сказали только про двадцать. К этому дражайшая матушка прибавила от щедрот своих еще пять фунтов – «на черный день», хотя только Бог и ах-любовь ведают, спасут ли такие крохи в черный день. Итак, счастливые молодожены начали новую жизнь, имея двести пять фунтов и ни малейшей надежды заработать хоть грош, – разве что Джордж Огест перестанет разыгрывать богача, откажется от уютного житышка, решится посмотреть правде в глаза и помаленьку примется за дело.

За время медового месяца они порядком поистратились – гораздо больше, чем следовало. В кошельке у Джорджа Огеста была куча соверенов и две бумажки по пять фунтов, и он ими невыносимо чванился. Изабелла никогда еще не видела столько денег сразу и пуще

¹¹ Волшебная ночь (*фр.*).

прежнего уверовала в богатство своего супруга. Посему она немедленно принялась рассылать «полезные подарки» бесчисленным членам оскудевшего семейства Хартли; и Джордж Огест, хоть и не без досады – по природе он был скуповат, – не мешал ей. Всего они истратили за две недели тридцать фунтов, а после того как куплены были билеты первого класса до Шеффилда, от вторых пяти фунтов почти ничего не осталось.

Первым тяжким ударом для Изабеллы оказалась первая брачная ночь. Второй удар испытала она при виде неказистого закопченного домишки «богачей» Уинтерборнов – по всей улице стояли точно такие же разрекламированные на все лады десятикомнатные «виллы» из желтого кирпича. Третьим ударом было открытие, что Джордж Огест ни гроша не зарабатывает на своем Поприще, что у него нет других денег, кроме остатка от пресловутых двухсот пяти фунтов, и что Уинтерборны вряд ли многим богаче Хартли.

Горькие дни настали для бедной Изабеллы, когда она в этом унылом доме ждала первого ребенка; ее супруг считал ворон, сидя уже не в своем «миленьком кабинетике», как до женитьбы, а в «конторе», и делал вид, что работает, добрейший папаша читал молитвы, а дражайшая матушка с ядовитой улыбочкой шпыняла и язвила ее на каждом шагу. Горькие дни, когда по утрам ее тошнило, а свекровь уверяла, что просто «пошаливает печень».

– Это все чересчур обильная и жирная еда, – говорила она невестке. – Вы-то, милочка, не привыкли дома к такому роскошному столу. – И прибавляла игриво и колко: – Видно, придется нам просить вашего дорогого муженька, чтобы он своей супружеской властью немножко сдержал ваш аппетит.

А на самом деле у Хартли стол был грубый, без затей, но куда более сытный и разнообразный, чем изысканно тощее меню дражайшей матушки, которая тряслась над каждой черствой коркой.

И конечно, пошли перебранки и ссоры. Изабелла взбунтовалась и обнаружила первые признаки неукротимого нрава и уменья злобно и изобретательно браниться, – впоследствии она достигла гималайских высот в этом малоприятном для окружающих искусстве. Даже дражайшая матушка нашла в ней достойную противницу – но перед тем она почти два года мучила Изабеллу, отравляла ей жизнь и портила характер. Да благословит тебя Бог, дражайшая матушка, ты «молила Бога наставить тебя на путь истинный», ты «хотела только добра» – и превратила Изабеллу в первоклассную суку.

Джордж Огест был огорчен, глубоко огорчен и изумлен этими ссорами. Ему все еще жилось уютно, и он не понимал, чего не хватает Изабелле.

– Будем по-прежнему жить любящей, дружной семьей, – повторял он, – будем терпимы и снисходительны. Каждый из нас несет бремя забот (например, считает ворон и читает толстые романы) – и только нужно немножко больше Любви и Всепрощения. Надо молиться, чтобы Господь дал нам Силы и наставил нас на Путь истинный.

Поначалу Изабелла выслушивала эти проповеди довольно кротко. Она верила, что должна «почитать» своего супруга, и ей все еще внушал робость его неизменный тон превосходства, позаимствованный у героев Булвера-Литтона. Но однажды ее не слишком надежная выдержка изменила ей, и она высказала Уинтерборнам все, что о них думала. Джордж Огест – трус, негодяй и обманщик! Никакой он не богач! Он – нищий, беднее церковной крысы! А еще важничал, прикидывался перед ее отцом, будто он богатый джентльмен и у него есть Поприще, а на самом деле не зарабатывает ни гроша и женился на двести фунтов, которые дал ему папаша! Она не вышла бы за него, нипочем не вышла, если бы он не улещал ее подарками и катаньями в коляске и не врал, будто сделает ее настоящей знатной

леди! Лучше бы ей умереть, чем выйти за него, да, да, лучше бы ей умереть. Лучше бы ей вовек не знать никаких Уинтерборнов!

Вот тут-то и поднялась буря! Вмешалась дражайшая матушка. Затаив до времени *in petto*¹² громы и молнии по адресу мужа и сына (оба преступника оцепенели, пораженные ужасом оттого, что обман с двумястами фунтами раскрылся), она обрушила шквальный огонь на обезоруженную Изабеллу. Изабелла неотесана и груба, она дурная христианка, дурно воспитана и необразованна, она корыстная душа, – сама в этом призналась – коварно соблазнила Джорджа Огеста, женила его на себе и тем загубила его жизнь и его блестящую карьеру...

Тут Изабелла упала в обморок, и, к великому несчастью для нашего Джорджа, опасность выкидыша миновала – благодаря не столько неумелым заботам мужа, свекра и свекрови, сколько здоровью и жизнеспособности самой Изабеллы. Один лишь добрейший папаша был искренне огорчен и пустил в ход все жалкие крохи своего влияния, чтобы хоть как-то защитить Изабеллу. Джордж Огест – тот сразу пал духом и только беспомощно лепетал:

– Матушка! Изабелла! Будем любить друг друга! Будем жить в согласии! Будем облегчать друг другу бремя наших забот!

Но его сбило бурным потоком ненависти, вырвавшейся из самой глубины двух душ во время этой поучительной сценки. Даже дражайшая матушка забыла о своем диссидентском лицемерии и вновь вспомнила о нем, лишь когда Изабелла упала в обморок.

По совету добрейшего папаша Джордж Огест на деньги, оставшиеся от пресловутых двухсот фунтов, увез Изабеллу к морю; так случилось, что Джордж родился в приморской гостинице.

Роды были трудные; помогали роженице плохо и неумело. Изабелла мучилась около сорока часов. Не будь она здорова, как молодая кобыла, ей бы уж, конечно, не выжить. А пока она страдала и мучилась, Джордж Огест возносил молитву за молитвой, совершал короткие прогулки, читал «Лорну Дун», за завтраком и обедом выпивал полбутылочки кларета и спокойно спал по ночам. Когда ему наконец позволили войти на цыпочках и взглянуть на полумертвую женщину, подле которой лежал ужасный, багровый, туго спеленатый в крохотный сверток младенец, Джордж Огест поднял руку – и благословил их обоих! Затем на цыпочках вышел, спустился в столовую и в честь столь знаменательного события заказал к обеду целую бутылку кларета.

3

Изабелла и Джордж Огест приводят меня в такое уныние, что я жажду поскорей от них отделаться. Но ведь, не зная родителей, нельзя понять и самого Джорджа. И потом, в чете Уинтерборнов-старших есть для меня даже какая-то притягательная сила, – такую они вызывают ненависть и презрение. Я силюсь понять откуда такая беспросветная тупость и ограниченность. Почему они даже не пытались вырваться из этой лжи и обмана? Почему нимало не стремились стать самими собой? Да, разумеется, наши великодушные потомки будут задавать себе те же вопросы относительно нас; но должны же они все-таки увидеть, что мы-то боролись, мы воевали с ложью и грязью жизни, с ветхими, истертыми прописями, как воевал и Джордж-младший. Быть может, Изабелла и пыталась сопротивляться, но сила инерции и неудержимая злость взяли верх. Быть может, двадцать два любовника и болтовня об агностицизме и социализме (в которых она отродясь и до старости ровно ничего не смыслила)

¹² В душе (*um.*).

были для Изабеллы своеобразным протестом. Но ее окончательно сразили причины экономические – причины экономические да еще ребенок. Говорите что хотите, но бедность и ребенок в любой женщине подавят волю к самоутверждению и наиболее полному развитию своей личности, – а если не подавят, то извратят. Они озлобили Изабеллу, исказили ее душу. Что до Джорджа Огеста – сомневаюсь, чтобы в нем оставались воля и стремление к чему бы то ни было, – разве только стремление жить уютно. Если он и достиг чего-то в жизни, то лишь потому, что этого хотела и к этому вынуждала его Изабелла. В сущности, он просто дрянь. А так как Изабелла была невежественна, упряма, непомерно тщеславна, а нежные заботы дражайшей матушки еще и озлобили и ожесточили ее, она тоже стала дрянью по милости Джорджа Огеста. Однако я куда больше сочувствую Изабелле, чем Джорджу Огесту. В ней когда-то было что-то человеческое. А Джордж Огест и не был никогда человеком, он просто лодырь, нехищная разновидность жука-богомла, пустое место, нуль, который становится величиной, лишь если рядом стоит какая-то другая цифра.

Когда Изабелла поправилась настолько, что могла уже выдержать переезд, – а может быть, немного раньше, – они, уехавшие вдвоем, возвратились домой втроем. Между ними появилось еще одно звено – не связующее, но разделяющее. Они стали «семьей», извечным треугольником отец – мать – ребенок, – а это сочетание гораздо более сложное и неприятное, в нем гораздо трудней разобраться, и оно чревато куда большими бедами, чем пресловутый треугольник муж – жена – любовник. После девяти месяцев близости Изабелла и Джордж Огест только-только начали привыкать друг к другу и к «ах-любви», как возникло это новое осложнение. Чутье подсказывало Изабелле, что к нему тоже надо как-то привыкать, применяться, а благодаря ей и Джордж Огест смутно заподозрил, что в их жизни что-то меняется. Итак, он принялся усиленно читать молитвы и всю дорогу от Южного побережья до Шеффилда внушал Изабелле, что семейству следует жить в любви и согласии, что каждый должен помогать другому нести бремя забот, что у них есть Ах-любовь, но им нужно обрести еще Терпение и Снисходительность. Не хотел бы я – боже упаси! – оказаться на месте Изабеллы, но я был бы не прочь минут пять поговорить за нее с Джорджем Огестом и выложить ему все, что я думаю, в ответ на это его слащаво-миротворческое, непроходимо-дурацкое лицемерие.

Итак, они возвратились втроем, и тут снова все пошли вздыхать, и пускать слезу, и читать молитвы, и просить Бога наставить их на путь истинный, и благословлять ничего не понимающего Джорджа (он был еще слишком мал и не мог показать им кукиш, – за него это сделаем мы, его посмертные крестные отцы и матери). Горькое разочарование в супружеской жизни, когда пошли прахом все ее иллюзии и честолюбивые мечты, да еще отменное здоровье при совершенной неразвитости умственной и духовной сделали Изабеллу превосходной матерью. Она и впрямь полюбила жалкий, крохотный кусочек мяса, зачатый в горе и разочаровании, в номере скучной гостиницы, в скучном городишке, на скучном Южном побережье скучной страны Англии. Она щедро изливала на младенца свою любовь и заботу. Когда она кормила маленького Джорджа и он теребил ее грудь, она испытывала наслаждение несравнимо более острое и утонченное, чем от неуклюжих ласк Джорджа Огеста. Она была точно самка зверя с детенышем. Джордж Огест мог сколько угодно бахвалиться перед своим добрейшим папашей, будто он «готов сражаться, как тигр, за свою дорогую Изабеллу», – а вот Изабелла и в самом деле готова была драться – и дралась – за своего малыша, как норовистая, бодливая, трогательная и безмозглая корова. Едва ли можно считать это достижением, но она спасла маленькому Джорджу жизнь – спасла его для немецкого пулемета.

На время в закопченном домишке в Шеффилде воцарился мир: Изабелла явно была еще очень слаба, и, как ни говорите, появление первого внука – немаловажное событие. Добрейший папаша был в восторге от маленького Джорджа. Он купил пять дюжин портвейна, чтобы сохранить их до совершеннолетия внука, и тут же начал полегоньку к ним прикладываться, «чтобы проверить, хорош ли букет». Он подарил Джорджу Огесту пятьдесят фунтов, которых у него не было. И каждый вечер, когда Изабелла укладывала малыша спать, дед со всей торжественностью дарил ему на прощанье свое благословение.

– Я знаю, Бог благословит его! – внушительно произносил добрейший папаша. – Бог благословит всех моих детей и всех моих потомков!

Можно было подумать, что он – сам патриарх Авраам или личный советник Господа Бога; впрочем, он, наверно, думал, что так оно и есть.

Даже дражайшая матушка на время попритихла. «Младенец укажет им путь», – ядовито цитировала она; и Джордж Огест, вдохновясь этими святыми словами, сочинил еще одну диссидентскую брошюрку о любви и согласии в семейной жизни.

Первые четыре года своей жизни Джордж провел среди вечных перебранок, бестолковщины и скаредности, – всего этого он, конечно, не сознавал, а для того чтобы измерить, насколько от этого пострадало его подсознание, понадобился бы более опытный психолог, чем я. Могу себе представить, что влияние дражайшей матушки и добрейшего папаши вкупе с папой и мамой Хартли, а также и самих Изабеллы и Джорджа Огеста оказалось тяжелой гирей на его ногах, когда он впервые вышел на беговую дорожку жизни. Я бы сказал, что у Джорджа в этом забеге не было ни малейшей надежды завоевать приз, и ставить на него пришлось бы разве что семь против ста. Но мое дело – как можно добросовестнее излагать события, а читатель пускай сам делает выводы и подсчитывает все «за» и «против».

Джорджу не исполнилось еще и полгода, а в шеффилдском доме уже снова с удвоенной силой и злостью разгорелись брань и свары. Дражайшая матушка была убеждена, что отстаивает от самозванки и собственную власть, и учение преподобного Джона Уэсли. Изабелла воевала за себя и своего ребенка и – хотя сама она этого и не понимала – за те крупницы человеческого, которые, может быть, еще уцелели в Джордже Огесте.

К этому времени Джордж Огест стал уже совершенно невыносим. Некто Генри Балбери, которого он знал еще студентом, возвратился в Шеффилд, купил адвокатскую практику и теперь преуспевал. Джорджу Огесту нечего было и думать с ним тягаться. Балбери прослужил три года в конторе одного лондонского стряпчего и уж так пускал пыль в глаза, словно в его, мистера Балбери, лице соединились лорд-канцлер, красавчик Брюмель и граф д'Орсей лета от рождества Христова 1891-го. Балбери похлопывал Джорджа Огеста по плечу, а Джордж Огест глядел ему в рот и вилял хвостиком. Балбери знал наперечет самые модные пьесы, самых модных актрис, самые модные книги. Он так и покатился со смеху, увидев, что Джордж Огест читает Диккенса и «Лорну Дун», и познакомил его с Моррисом, Суинберном, Росетти, Рескином, Харди, Муром и молодым Уайльдом. Джордж Огест пришел в величайшее волнение и сделался эстетом. Однажды на лекции заехавшего в Шеффилд Пейтера он был столь потрясен изумительными Пейтеровыми усами, что лишился чувств, и его пришлось отвезти домой на извозчике. Наконец-то Джордж Огест обрел свое призвание. Он понял, кто он такой: мечтатель, опоздавший родиться, дитя иного века! Ему бы, подобно Антиною, под звуки флейт и виол плыть с императором Адрианом по медлительным водам вечного Нила! Ему бы восседать под благоухающим шелковым балдахинном на троне рядом с Зенобией, и пусть бы вереницы нагих чернокожих рабов с мускулистыми телами, лоснящимися от нарда и масел, слагали к его ногам сокровища пышного Востока. Он принадлежит седой древности. Он утонченнее самой прекрасной музыки; и в малейшем оттенке света, в движении теней, в изменчивых очертаниях гонимых ветром

облаков таится для него глубокий смысл! В душе его оживали предания Вавилона и Тира, и он оплакивал трагическую гибель прекрасного Биона. В Афинах, увенчанный фиалками, он возлежал на пиру и слушал, как Сократ рассуждает с Алкивиадом о любви. Но сильнее всего была в нем безмерная страсть к Флоренции Средних веков и Возрождения. Он никогда не бывал в Италии, но любил хвастать, что досконально изучил план милого его сердцу города и не заблудился бы во Флоренции даже с завязанными глазами. Он не знал ни слова по-итальянски, но громогласно восторгался Данте и «его кружком», критиковал Гвиччардини за чрезмерную педантичность, опровергал Макиавелли и был первым (после Роско) авторитетом во всем, что касалось эпохи Лоренцо Великолепного и Льва X.

В один прекрасный день Джордж Огест объявил родным, что он решил оставить свое Поприще и *посвятить себя служению литературе*.

В английском семействе возможны подчас размолвки – ведь и лучшим друзьям случается повздорить, – но уж если дело серьезное, семейство всегда заодно. На этот счет, слава богу, пока можно не беспокоиться: всякое английское семейство единодушно выступит против любого из своих членов, который осмелится погрязнуть в бесстыдстве Литературы и Искусства (если не считать той *чистой* литературы, где действуют шейхи, да изысканных картин какого-нибудь преданного традициям Милле). Пусть подобными непристойностями занимается бесстыжий континент, в нашем отечестве это пристало лишь каким-нибудь вырождакам и декадентам, и не мешало бы полиции применить к ним самые суровые меры, дабы очистить нашу жизнь от скверны, вносимой этими скандалистами. Великая английская средняя буржуазия, эта ужасная несокрушимая опора нации, изволит признавать только искусство и литературу, которые устарели на полстолетия, выхолощены, оскотлены, обстрижены цензурой, подслащены ложью и сентиментальным вздором, как то угодно англизированному Иегове. Английский обыватель все еще представляет собою незыблемый оплот филистерства – тот самый, о который тщетно бился Байрон и над которым бессильны были взлететь даже крылья Ариеля. Итак, берегись, мой друг. Спешу надеть елейную маску истинно британского лицемерия и страха перед жизнью, или – так и знай – тебя раздавят. Ты можешь ускользнуть на время. Тебе покажется, что тут возможен компромисс. Ошибаешься. Либо тебе придется продать им душу, либо ее раздавят. Или же стань изгнанником, беги на чужбину.

Вероятно, во времена Джорджа Огеста дело обстояло еще хуже, а впрочем, он-то был просто шут гороховый, и не стоит о нем сокрушаться. Но вот в Изабелле ключом били жизненные силы – им бы найти выход, а сдерживаемые под спудом, они обратились в свирепый яд. Да и жалкие попытки Джорджа Огеста заделаться эстетом и «служить литературе» тоже говорят о чем-то, о какой-то внутренней борьбе, о стремлении создать какую-то свою жизнь. Разумеется, это было бегство, робкое, беспомощное желание ускользнуть в страну грез; но окажись вы в шкуре Джорджа Огеста и живи под эгидой дражайшей матушки в Шеффилде 1891 года, вы бы тоже всей душой жаждали ускользнуть. Изабелла воспротивилась этой новой блажи Джорджа Огеста, потому что она и сама хотела сбежать. А для нее бегство было возможно лишь в одном случае – если бы Джордж Огест заработал достаточно, чтобы они с ребенком могли уйти от дорогих родителей и зажить своей семьей. Изабелла считала, что прерафаэлиты – безмозглые слюнтяи, и не так уж была далека от истины. Она считала Томаса Харди писателем чересчур мрачным и безнравственным, Джорджа Мура – чересчур легкомысленным и безнравственным, а молодого Уайльда – чересчур нездоровым и безнравственным. Но читала она их бессмертные книги лишь мимоходом, урывками – зато ее одушевляла глубочайшая, бессознательная, но непоколебимая уверенность, что у Джорджа Огеста отныне должна быть лишь одна цель в жизни: обеспечить ее и ее ребенка и увезти их подальше от Шеффилда и от дражайшей матушки.

Добрейший папаша и дражайшая матушка тоже считали новое увлечение Джорджа Огеста бессмысленным и безнравственным. Дражайшая матушка, прочитав первые страницы одного из романов Харди, отнесла «эту непристойность» на кухню и спалила. Разразился ужасный скандал. Поддерживаемый коварным Балбери (который до того не переносил дражайшую матушку, что даже уступил Джорджу Огесту несколько мелких и не слишком интересных для него самого дел и таким образом дал ему возможность заработать за полгода семьдесят фунтов), Джордж Огест, прежде ни разу не пытавшийся отстоять собственную независимость, не вступавшийся ни за Изабеллу, ни за что-либо действительно важное, теперь вступился за Томаса Харди и за свою фальшивую, жалкую позу эстета. Он запер все свои драгоценные новомодные книги в шкаф и не расставался с ключом. И долгие часы проводил за «служением литературе», затворившись в своем «миленьком кабинетике», а громы и молнии оскорбленного семейства бессильно бушевали за дверью. Но Джордж Огест был тверд, как скала. Он накупил себе «артистических» галстуков, чуть ли не каждый вечер встречался с Балбери и продолжал «служить литературе». Злодей Балбери дошел в своих кознях до того, что уговорил какого-то приятеля, из любви к искусству издававшего в Лондоне журнальчик эстетствующего направления, напечатать статью Джорджа Огеста под заглавием «Клеопатра – чудо, живущее в веках». За эту статью Джорджу Огесту заплатили целую гинею, и все семейство на неделю притихло в почтительном изумлении.

И все же ими владел такой злобный страх перед Неведомой Непристойностью, что скандалов было не миновать. А так как Джордж Огест, не желая, чтобы с ним скандалили, наглухо запирался в своем «миленьком кабинетике» и почти не выходил оттуда, даже когда дражайшая матушка властно стучалась в дверь и громко напоминала ему о его долге перед Господом Богом, родной матерью и обществом, то скандалы неминуемо разыгрывались между дражайшей матушкой и Изабеллой.

Однажды ночью, когда Джордж Огест уже спал, Изабелла тихонько поднялась и стащила у него из кошелька пять фунтов. Наутро она, как обычно, вышла с ребенком на прогулку, добралась с ним до железной дороги и сбежала в патриархальный Кент к папе и маме Хартли. То был, разумеется, не самый дерзкий поступок в жизни Изабеллы – впоследствии ей случалось сгоряча выкидывать еще и не такое, – но, с ее точки зрения, быть может, самый разумный. То была первая из ее отчаянных попыток принудить Джорджа Огеста к действию. То было ему напоминание, что он взял на себя известную ответственность, а ответственность – это сама жизнь, и от нее нельзя уклоняться бесконечно. Артиллерийским обстрелом Изабелла заставила его вылезти из блиндажа маменькиной тирании и в конце концов зенитным огнем согнала с эмпиреев эстетства и «служения литературе».

Но Изабелла не уронила ни себя, ни Джорджа Огеста в глазах семейства Хартли. Она рассчитала – совершенно правильно, – что он тотчас примчится за нею из страха перед тем, «что скажут люди». И она телеграммой известила папу с мамой, что приедет на несколько дней повидаться с ними (они уже привыкли к ее неожиданным выходкам и ничуть не удивились), а Джорджу Огесту оставила в спальне на туалетном столике записку, трагически закапанную самыми настоящими (не поддельными) слезами. Она повезла родным кое-какие недорогие подарки и так хорошо играла роль, что на первых порах даже мама Хартли лишь очень смутно подозревала неладное.

Любящее и дружное семейство в Шеффилде было несколько испугано, когда Изабелла не вернулась к завтраку; но всеми овладел настоящий ужас – а дражайшей матушкой, разумеется, бешенство, – когда Джордж Огест обнаружил записку Изабеллы и сообщил родителям ее содержание.

– Ее надо сейчас же разыскать и вернуть, – решительно объявила дражайшая матушка, мигом почуяв, что предстоит кровопролитие. – Она опозорила себя, она опозорила своего

мужа и опозорила семью. Я давно замечаю, что она рассеянна за молитвой. Хороший урок пойдет ей на пользу. Несчастье для всех нас, что Огест женился на женщине не нашего круга. Пусть теперь едет и извлечет ее из этой мещанской семьи. Подумать только, что нашего милого крошку окружают такие вульгарные, такие без-нрав-ственные люди!

– А вдруг она не захочет вернуться? – спросил добрейший папаша, которого дражайшая матушка терзала столько лет, что он не мог не сочувствовать Изабелле.

– Надо за-ста-вить ее вернуться, – сказала дражайшая матушка. – Огест! Ты обязан исполнить свой долг и утвердить свою власть как супруг и повелитель. Поезжай сегодня же.

– Но что скажут люди? – пробормотал удрученный Джордж Огест.

При этих роковых словах краска залила даже щеки дражайшей матушки, побледневшие за пятьдесят лет от затаенной злости и дурного нрава. Что скажут люди? Да, в самом деле, что-то скажут люди! Что скажет священник? А миссис Стэндиш? А миссис Грегори? И мисс Стинт, у которой дядюшка – священник соседнего прихода? И кузина Джоан? От ее ястребиного взгляда ничто не укроется, а нюх на скандалы и на все, что дурно пахнет, у нее поострей, чем у изголодавшегося горного кондора. Что все они скажут? Ну, ясно, они скажут, что молодая миссис Уинтерборн сбежала с железнодорожным кондуктором Большой Западной. Скажут, что маленький Джордж оказался на четверть краснокожим (плоды продолжительного пребывания капитана Хартли и его супруги в Вест-Индии), а потому молодую миссис Уинтерборн с младенцем спешно отправили в приют. Скажут, что семейство Уинтерборн страдает «ужасным недугом» и Изабелла бежала от них вместе с зараженным ребенком. Будут говорить также вещи, не столь далекие от истины, а потому еще более неприятные. Скажут, что дражайшая матушка совсем заела Изабеллу, вот та и не вытерпела и сбежала, и, может быть, даже не одна, а с каким-нибудь дружкой. Скажут, что Джордж Огест не способен содержать семью и что Изабелле опостылел этот лодырь, помешанный на каких-то дурацких книжонках. Скажут... да чего только не скажут! А Уинтерборны – разумеется, они одни во всем роде человеческом – были весьма чувствительны к тому, «что скажут люди».

Итак, когда Джордж Огест удрученно спросил: «А что скажут люди?» – даже грозное воинство тосканское (иными словами, дражайшая матушка) на мгновение приуныло. Но вскоре вновь воспрянул несокрушимый дух, что прославил Британскую империю, – и дражайшая матушка разработала план наступления и стала отдавать приказания столь точные и ясные, что у нее следовало бы поучиться всем бригадным генералам, батальонным, ротным и взводным командирам. Прислуге надо немедленно сказать, что миссис Уинтерборн-младшей пришлось неожиданно уехать к заболевшему отцу (это было сделано тотчас же, но эта хитрость особого успеха не имела, поскольку прислуга, пока длился военный совет, с восторгом подслушивала у дверей гостиной). Далее: дражайшая матушка нынче же навестит наиболее почтенных соседей и всюду словно бы между прочим сообщит, что милочке Изабелле пришлось неожиданно... и так далее... и мимоходом прибавит, что «весьма важные дела» сегодня удерживают ее сына в Шеффилде, но завтра же он последует за супругой – «они такая нежная пара, знаете! Моя невестка с большим трудом уговорила нашего дорогого Джорджа не бросать важные дела ради того, чтобы ее сопровождать». А завтра утром Джордж Огест отбудет в патриархальный Кент и доставит Изабеллу домой, подобно супругу кроткой Гризельды или иному герою романа.

Все это было исполнено в точности за одним только существенным исключением. Когда Джордж Огест нежданым гостем явился в дом Хартли в разгар шумного и людного субботнего обеда (свинина, бобы, жареный картофель, яблочный соус и пудинг, но пива на сей раз ни капли), его встретила отнюдь не кроткая Гризельда. Да еще за его весьма нетерпеливую и разобиженную Гризельду вступилось все ее разобиженное семейство, уже успевшее выудить у нее, от природы не очень-то скрытной и замкнутой, долю правды о слу-

чившемся. Хартли были просто взбешены: оказывается, Джордж Огест никакой не богат! Подумать только, как ловко он их провел! Как завлекал Изабеллу, задаривая ее шоколадом по шиллингу шесть пенсов фунт! И как высокомерно и осуждающе, с видом оскорбленной праведницы слушала дражайшая матушка невинные шуточки капитана Хартли насчет их жизни в Индии, насчет некоего удальца (ха-ха!) и парочки индусок (хи-хи!). А как невыносимо хвастал добрейший папаша своим портвейном шестьдесят четвертого года и поездками в Париж и на поле Ватерлоо! И они, Хартли, вытерпели все эти унижения, а теперь оказывается, Джордж Огест совсем даже не богат! Ужасно, просто ужасно!

Итак, Джордж Огест эффектно появился на пиру, где украшением стола был жареный поросенок, – и хоть он не успел еще растерять все громы и молнии, которыми его вооружила дражайшая матушка, но сразу увидел, что выполнить свою миссию ему будет не так-то легко.

Хартли-родители встретили его с натянутой и не слишком вежливой сдержанностью, и такое множество юных Хартли уставилось на него круглыми любопытными глазами, что ему показалось, будто за его неравной борьбой с попавшимся ему (вернее, подложенным умышленно) жестким и неаппетитным куском свинины укориженным взором следит все малолетнее население земного шара.

Надо ли говорить, что Изабелла и семейство Хартли наголову разбили Джорджа Огеста, как разбил бы его наголову всякий, у кого нашлось бы на грош храбрости и хоть капля характера.

Он капитулировал.

И условия сдачи были отнюдь не почетные.

Он просил прощенья у Изабеллы.

И у мамы Хартли.

И у капитана Хартли.

Мир был подписан на следующих условиях:

Джордж Огест покоряется безоговорочно, Изабелла остается победительницей.

Ноги Изабеллы не будут отныне в доме дражайшей матушки, и вообще она не вернется в Шеффилд.

Они снимут домик в патриархальном Кенте, неподалеку от Хартли.

Джордж Огест съездит в Шеффилд и привезет оттуда в патриархальный Кент своих возлюбленных эстетов и всю мебель, какую ему удастся выпросить у родителей.

Он продаст свою «практику» в Шеффилде и начнет «практиковать» в патриархальном Кенте.

Джорджу Огесту делается уступка: ему разрешается некоторое время «служить литературе». Но если Литература окажется занятием невыгодным и себя не оправдывающим, то по прошествии какого-то времени, а какого именно – это определяют Изабелла и другие Высокие Договаривающиеся Стороны, ему придется «практиковать» более прилежно и извлекать из своей практики больше дохода.

А если он прилежания не проявит и доходов не добьется, ему это так не пройдет, и Изабелла взыщет с него по закону содержание на себя и на ребенка.

Скреплено подписями и печатями и оглашено за квартой восточнокентского светлого пива.

Бедняга Джордж Огест! Вокруг него уже готовы были сомкнуться стены темницы, хоть он этого и не подозревал. И досталось же ему от дражайшей матушки, когда он явился домой, поджав хвостик, один, без Изабеллы, – и сообщил, что они решили снять домик в патриархальном Кенте и... *служить литературе!* Услышав слово «литература», дражайшая матушка презрительно фыркнула:

– А прачке кто будет платить, хотела бы я знать?

Джордж Огест, исполненный духа любви и всепрощения, пропустил эту шпильку мимо ушей, и хорошо сделал, ведь ответить все равно было нечего.

На помощь снова пришел добрейший папаша. Он подарил Джорджу столько мебели, сколько посмел, и еще пятьдесят фунтов, которых у него не было. А Балбери позаботился о том, чтобы Джорджу Огесту заказали статью под названием «Друзья Лоренцо Великолепного» и другую – «Мои странствия по Флоренции». Он же присоветовал Джорджу Огесту написать книгу – либо «Историю упадка и гибели Флорентийской республики», либо роман на необыкновенно новую и оригинальную тему – о Савонароле. В придачу Балбери снабдил его рекомендательным письмом к одному из тех предприимчивых молодых издателей, которые снова и снова появляются в Лондоне с намерением покорить мир благородными и возвышенными произведениями, а года через два-три неизменно кончают банкротством и судом и оставляют за собою скорбный след неоплаченных счетов, разочарованных авторов и загубленных репутаций.

Итак, Изабелла сняла в патриархальном Кенте очень милый домик, и Джордж Огест обосновался здесь в качестве *писателя*.

(Видели бы вы, в каких «артистических» галстуках расхаживал Джордж Огест, пока он был *писателем*! У вас бы дух захватило!)

Но будем справедливы: Джордж Огест и впрямь трудился, служа литературе, – ровно три часа в день, как все великие писатели. Он сочинял статьи, он сочинял рассказы, он приступил к «Истории упадка и гибели Флорентийской республики» и к роману о Савонароле, насыщенному такими ужасами, что кровь стыла в жилах; роман начинался так: «Однажды в ненастную декабрьскую ночь 14... года на Пьяцца делла Синьория во Флоренции можно было увидеть две фигуры в черных плащах; они пересекали площадь, направляясь от Ор Сан Микеле к резиденции Лоренцо Великолепного, известной ныне под названием Палаццо Строцци».

Бедняга Джордж Огест! Уверяю вас, таких, как он, великое множество. Ему предстояло многому научиться. Ему предстояло узнать, что сколько-нибудь стоящая книга всегда возникает прямо из жизни и писать ее надо собственной кровью. Ему предстояло узнать, что каждая эпоха кишит подражателями, которые, рабски копируя тех, кто писал кровью сердца и создал образец, подражанием неминуемо на краткий срок убивают подлинных художников и их влияние.

А все-таки с год он был владельцем домика в патриархальном Кенте и – писателем. Сбылась его мечта – хоть и дурацкая и выхолощенная мечта. Не женись он на Изабелле и не награди ее младенцем, он мог бы стать вполне сносным литературным поденщиком. Но горе тому, кто связал себя семьей! Позаботься о своих... и уж твоя судьба о тебе позаботится.

Что до Изабеллы, то она была счастлива – первый и, может быть, последний раз в своей жизни. Она обожала свой домик в патриархальном Кенте. Что за важность, если Джордж Огест и убивает зря время на свою Литературу? У него еще оставалось около ста семидесяти фунтов, да несколько гиней в месяц он зарабатывал статьями и рассказами. А для нее такая радость, такой восторг – быть хозяйкой в своем доме! Она сама обставила его – наполовину громоздкой старомодной мебелью красного дерева, которую Джордж Огест привез из Шеффилда, наполовину ужасной крикливой дрянью по своему вкусу и шаткими бамбуковыми столиками и этажерками. Джордж Огест уговаривал ее создать «артистический стиль», а получился хаос из огромных тяжеловесных шкафов и комодов красного дерева сплошь в вычурной резьбе и завитушках – и легкомысленного бамбукового вздора, пальм, цветастых

ситцев и фотографий в рамках: дикая смесь, которая в полминуты привела бы покойного мистера Оскара Уайльда в полнейшее уныние. Зато Изабелла была счастлива. У нее теперь был дом, был Джордж Огест, с которого она не спускала глаз и которого держала под башмаком, был сынишка – она обожала его со всей силой эгоизма «чистой женщины», а самое главное – тут не было дражайшей матушки, которая бы изводила ее, и язвила, и придиралась бы к ней с утра до ночи на каждом шагу. Милочка Изабелла, как счастлива была она в своем скро-ом-ном, ма-а-леньком домике! Поставьте-ка себя на ее место. Что, если бы вы оказались одним из бесчисленных чад огромного семейства и должны были страдать от всех ужасных неудобств, не имея своего угла?.. Что, если бы это вам пришлось так безрадостно зачать и так мучительно родить на свет ребенка, и потом вами командовала бы, и помыкала, и изводила, и поедом ела бы вас дражайшая матушка, – разве не были бы вы рады и счастливы после всего этого обзавестись своим домиком, пусть самым скромным, пусть кое-как построенным на песке «служения литературе» и артистических галстуков? Еще как были бы рады! И вот Изабелла *tant bien que mal*¹³ присматривает за ребенком и стряпает чудовищные несъедобные обеды, и ее всячески надувают лавочки, и счета все растут и растут, приводя ее в ужас, и маленький Джордж по ее недосмотру едва не умирает от крупа, и она предоставляет Джорджу Огесту увиваться за Музой, прерывая его всего только раз пять-шесть за утро, не больше... и она счастлива.

Но все мы, кто суетится и хлопочет на этой планете, вращающейся вокруг Солнца, склонны забывать (среди многого другого) о двух немаловажных обстоятельствах. Мы, обитатели Земли, существуем лишь потому, что день за днем поглощаем материальные продукты своей планеты; мы – члены кое-как сбитого коллектива, распределяющего эти необходимые для нашей жизни продукты согласно причудливым правилам, которые с великими муками родились из хаоса, царящего в наших примитивных мозгах. Джордж Огест, во всяком случае, забыл об этих обстоятельствах – если вообще когда-либо имел о них представление. Мужчина, женщина и их отпрыск не могут вечно жить на одни и те же сто семьдесят фунтов плюс еще несколько гиней в месяц. Это было невозможно даже в девяностых годах прошлого века и даже при строжайшей экономии. А Изабелла совсем не умела экономить. Да и Джордж Огест тоже не умел. Он был скуп, но при этом любил, чтобы ему жилось уютно, а понятия об уютном житье у него были довольно широкие. Раздираемый противоречивыми чувствами (ибо он весьма уважал почтенного лорда Теннисона, как известно, всякому другому вину предпочитавшего портвейн, но в то же время преклонялся и перед мистером Алджерноном Чарлзом Суинберном, который отличался не столь прославленным, но откровенным пристрастием к коньяку), Джордж Огест под конец стал оригинальным и вернулся к своему излюбленному кларету. Но кларет даже в девяностых годах был дороговат, и три дюжины бутылок в месяц пробивали изрядную брешь в доходе, колеблющемся от четырех до шести гиней. К тому же Изабелла была неопытна. А в хозяйстве неопытность бьет по карману! Итак, пришло время, когда от ста семидесяти фунтов почти ничего не осталось и дополнительных гиней с каждым месяцем становилось не больше, а меньше. Потом маленький Джордж подхватил какую-то детскую болезнь; Изабелла совсем потеряла голову и потребовала врача; врач, как и любой английский обыватель, полагал, что всякий литератор – дурень с тугой мошной и с него можно без зазрения совести драть семь шкур, а потому он навещал больного гораздо чаще, чем следовало, и прислал такой счет, какого не осмелился бы прислать ни одному биржевику или миллионеру. Потом Джордж Огест заболел гриппом и вообразил, что умирает. А потом у Изабеллы началось кровотечение, и ее тоже необходимо было лечить. И на счету в банке вместо остатка в несколько гиней образовалась

¹³ С грехом пополам (*фр.*).

задолженность во много фунтов; и любезный управляющий очень быстро стал на удивление нелюбезен, когда в ответ на его вежливые намеки по поводу такого перерасхода не посыпалась манна небесная во образе новых приходных чеков.

Изабелла поняла – и, наверно, это давным-давно понял бы всякий, кроме Джорджа Огеста, – что ахлюбовь и «служение литературе» в загородном домике потерпели полный крах.

Итак, добрейший папаша снова раскошелится – на фунт в неделю, и папа Хартли добавил внушительную лепту – еженедельных пять шиллингов. Но это означало нищету, а Изабелла твердо решила, что, раз уж она вышла за Джорджа Огеста ради его «богатства», он будет богат – или ляжет костью в погоне за этим самым богатством. И она пустила в ход весь арсенал истинно женского оружия, а в придачу кое-какие запрещенные приемы и удары исподтишка, способные в нравственном смысле отбить противнику почки, – все, чему выучилась у дражайшей матушки. Джордж Огест пытался не опускаться до этой презренной материальной прозы, но, как я уже говорил, Изабелла подбила его зенитным огнем и заставила приземлиться. Когда в лавках им перестали отпускать в кредит даже мясо и хлеб, Джордж Огест сдался и согласился возобновить свою адвокатскую «практику». Он хотел вернуться в Шеффилд, где ему и теперь жилось бы уютно под башмаком у дражайшей матушки. Но Изабелла осталась непреклонна – и правильно сделала. В Шеффилд она не вернется. Джордж Огест женился на ней обманом, прикинувшись богатым. А он совсем не богат. Он попросту нищий. Но раз уж ты берешь на себя обязательство прокормить женщину, да еще делаешь ей ребенка, забудь и думать об уютном житье под крылышком дражайшей матушки. Твое дело – поскорее разбогатеть или уж, во всяком случае, зарабатывать столько, чтобы жена и ребенок жили в достатке. Несокрушимая логика, и возразить нечего, никакие софизмы не помогут.

Итак, они (тоже по совету Балбери) перебрались в дрянной приморский городишко, как раз начавший «бурно развиваться», и Джордж Огест снова вывесил медную табличку. Все напрасно, клиенты не появлялись. Надвигалась катастрофа – но тут взял и помер добрейший папаша. Он не оставил своим детям состояния, но оставил каждому по двести пятьдесят фунтов – и, как ни странно, эти деньги у него и вправду нашлись. Дражайшая матушка осталась в «довольно стесненных обстоятельствах» – но, во всяком случае, она была обеспечена настолько, что могла до конца дней своих ни с кем ни капельки не церемониться.

Эти двести пятьдесят фунтов да еще дело Оскара Уайльда как раз и спасли положение. На двести пятьдесят фунтов они могли жить целый год. А суд над Уайльдом так перепугал Джорджа Огеста, что он и думать забыл об эстетизме и о литературе. Как! За то, что люди любят зеленый цвет, их отправляют на виселицу? Тогда Джордж Огест будет ходить весь в красном. После приговора Джордж Огест, как почти вся Англия, решил, что искусство и литература – занятие если и не для жеманных модников, то для безмозглых молокососов. Нет, он не сжег свои книги и галстуки, но с замечательным проворством убрал их подальше, чтоб никому не попадались на глаза. Глас Английского Народа прозвучал ясно и недвусмысленно – и Джордж Огест не остался глух к предупреждению. Да и как ему было остаться глухим, если Изабелла твердила ему это в одно ухо, а дражайшая матушка – нежданная, но с радостью принятая союзница, – то же самое, но уже письменно, твердила в другое ухо? Нация мореплавателей и спортсменов, вполне естественно, достигла совершенства в двух родственных видах искусства: удирать с тонущего корабля и бить лежачего. Спустя три месяца после приговора по делу Уайльда вы просто не поверили бы, что Джордж Огест когда-то мечтал о служении литературе. Он одевался как примерный филистер – право же, он носил уж такие высоченные крахмальные воротнички и уж до того неказистые, даже уродливые антиэстетские галстуки, что они казались отмеченными печатью Иуды. По настоянию Изабеллы он заделался масоном, Чудаком, Лосем, Сердцем Дуба, Бизоном, Друзи-

дом и членом бог весть каких еще загадочных обществ и клубов. Забросил Флоренцию, забыл даже непогрешимого Савонаролу и на каждом шагу молил Господа Бога наставить его на путь истинный. Каждое воскресенье они с Изабеллой дважды посещали службу в «лучшей» местной церкви.

Сначала медленно, потом все быстрее стала расти адвокатская практика Джорджа Огеста; и им овладела страсть к накоплению. Теперь они уже не ютились в одной комнате позади конторы, а сняли небольшой, но весьма приличный дом в благоприличном квартале. Два года спустя они сняли дачу в Мартинс Пойнте – местности, куда выезжало на лето «лучшее общество». А еще через два года приобрели большой загородный дом в Пэмбере и еще дом, поменьше, за чертою «удивительного старинного городка» Хэмборо. Джордж Огест принялся покупать и строить дома. Изабелла, чье личное имущество в ту пору, когда она вышла замуж, равнялось нулю, теперь жаловалась, что ей дается «на булавки» всего лишь «каких-то тысяча двести фунтов» в год. Короче говоря, они процветали, и еще как процветали – пока...

У них родился еще один ребенок, и еще один, и еще, и еще. Мужчина и женщина, которым больше нечего делать, всегда могут производить на свет детей, – и если они состоят в законном браке и имеют возможность прокормить свое потомство, кажется, нет пределов их способности к продолжению рода и не будет, стало быть, конца лаврам, коими с появлением каждого младенца надлежит венчать их добродетель. Всю свою жизнеспособность и энергию Изабелла отдала деторождению; ради этого она подталкивала Джорджа Огеста на всякое дело, которое могло принести барыш, и даже сама старалась добиться еще лучшего положения в обществе и еще большего материального благополучия; она покупала и обставляла дома, ссорилась с приятельницами, завоевывала шейхов, уродовала души своих детей, нелепо и беспорядочно вмешивалась в их образование, хвастала перед семейством Хартли своими деньгами, поглядывала свысока на постаревшую и уже не столь ядовитую дражайшую матушку и предавалась многим другим столь же возвышенным и вдохновенным занятиям. Была ли она счастлива? Что за вопрос! Не для того благое провидение поселило нас в этом мире, чтобы мы были счастливы, но для того, чтобы мы отравляли существование своим ближним и самыми неприятными сторонами своего характера поворачивались к возможно большему количеству людей. Был ли счастлив Джордж Огест? На это я вам возражу – а заслуживал ли он счастья? Во всяком случае, он загребал большие деньги, а ни вы, ни я этого не умеем. Он бросил кларет ради виски и эстетов, ради «английских классиков» – всех этих «благородных» авторов, которые «выдержали испытание временем» и от этого сделались уж так скучны, что мы предпочитаем ходить в кинематограф, хоть он никаких таких испытаний и не выдерживал. Джордж Огест завел двухместную карету и каждый день отправлялся в ней к себе в контору. Он стал Высокочтимым Великим Мастером, и теперь у него было вдоволь забавных медалек и разноцветных кожаных фартучков, которые, видимо, «вольные каменщики» надевают во время своих священнодействий. Он вставил в рамки свое свидетельство стряпчего, а также грамоты, удостоверявшие его принадлежность к Бизонам, Друидам и прочее, и вывесил их в самых неожиданных местах, чтобы они повергали непосвященных в изумление и трепет. У него была обширнейшая клиентура. Лет десять кряду он так процветал, что мог позволить себе роскошь вовсе не ходить в церковь по воскресеньям.

4

Джордж-младший больше всего, пожалуй, любил Хэмборо, затем Мартинс Пойнт; Пэмбер был ему не по душе, а Далборо – город, где находились отцовская контора и начальная школа, куда его определили, – он просто терпеть не мог.

Внутренний мир совсем маленького ребенка малоинтересен. Тут есть и любопытство и воображение, но уж очень своеобразное, причудливое, и чересчур много наивной доверчивости. И так ли уж это важно, что маленький Джордж лепетал о белых омарах, развлекался лягушками в ведерке, воображал, будто слово «туман» означает заход солнца, и легко поверил, когда ему сказали, что молочный пудинг, который он терпеть не мог, делается из страусового яйца? Разумеется, воображение взрослого главным образом в том и состоит, что взрослые люди себе внушают, будто они видят белых омаров, а поэзия – в том, что они себе внушают, будто молочный пудинг и впрямь приготовлен из яйца страуса. Ребенок, по крайней мере, честен, это уже кое-что. А в целом душа маленького ребенка – штука довольно скучная.

Разум пробуждается раньше чувств, любопытство – раньше страстей. Ребенок сначала задает вопрос ученого – почему? – и лишь потом вопрос поэта – как? Джордж читал первые книжки по ботанике и геологии и «Рассказы о светилах», собирал коллекцию бабочек, мечтал стать химиком и ненавидел греческий язык. Но однажды вечером весь мир преобразился. Это было в Мартинс Пойнте. Всю ночь над голыми холмами мчался юго-западный ветер – все выше, стремительней, и все громче звучала его ликующая песнь, взлетала до лихого свиста и вдруг обрывалась коротким рыданьем, оплакивая свою умирающую силу, – а ниже буря разливалась и гремела упрямым, неотвратимым потоком. Дребезжали стекла. Дождь хлестал в окно, просачивался сквозь щели рам и струйками стекал с подоконника. Яростно дыбилось море, едва видимое в сумерках, – огромные валы снова и снова обрушивались на скалистый берег, бесновались в Ла-Манше пенистые гребни. Даже самые большие корабли укрылись в гавани. Под беспорядочную симфонию бури Джордж уснул в своей узкой, одинокой детской кровати – и кто знает, какой крылатый гений, какой проказливый эльф, какой дух красоты, оседлав бурю, примчался с юга и соком какой волшебной травы окропил его сомкнутые веки? Назавтра шторм стал понемногу стихать. Была суббота, уроки кончились рано, играть во дворе невозможно – дождь, лужи. После завтрака Джордж ушел к себе и с упоением занялся своими книгами, бабочками, мотыльками и окаменелостями. Очнулся он от того, что ему вдруг брызнул в глаза яркий солнечный свет. Буря миновала. Последние клочья туч, сизые и мрачные, с рваными краями, медленно уплывали по бледно-голубому небу. Скоро и их не стало. Джордж отворил окно и выглянул. Густой, вязкий запах сырой земли, душный, как запах гиацинта, ударил ему в лицо; до отказа напоенные дождем кусты бирючины пахли даже чересчур сладко; только что распутившиеся листья тополя трепетали и искрились под последними порывами ветра, стряхивая наземь алмазные цепочки капель. И все дышало такой свежестью – воздух, хрустально чистый, как всегда после шторма, и чистая, еще лишенная аромата, едва распутившаяся листва, и мокрые травы на безлесных холмах. Солнце медлительно и величаво опускалось во все расширяющееся озеро расплавленного золота, а когда огромный шар его скрылся, золото потускнело и перешло в чистую, прозрачную, холодную зелень и синеву. Засвистал черный дрозд, за ним другой, еще и еще, на все голоса запели дрозды и коноплянки; но понемногу смеркалось, и вместе со светом угасало птичье пение, и, наконец, осталась только одна бесконечно чистая и печальная песня черного дрозда.

Красота не вне нас, но в нас самих. Это свою красоту мы узнаем в изменчивых узорах вечного потока жизни. Свет, форма, движение, блеск, запахи и звуки внезапно предстают перед нами не просто как привычный облик вещей, – в них обретает выражение жизнь, ключом бьющая в нас, они дарят радость. Мальчик, впервые охваченный еще неведомым восторгом, погрузился в раздумье о тайне красоты.

Снизу донесся пронзительный голос:

– Джорджи! Джорджи! Довольно тебе сидеть в душной комнате! Сбегай скорее к Гилпину, надо кое-что купить.

Что за извращенное чутье подсказывает им, в какую минуту нанести удар? Как они ухитряются так безошибочно разбить хрупкую тишину души? Почему так люто ненавидят эту тайну?

Задолго до того, как ему исполнилось пятнадцать, Джордж стал вести двойную жизнь: одна – для всех, кто окружал его в школе и дома, другая – для себя. Искусное притворство юности, вынужденной бороться за свою жизнеспособность и свою тайну. Как забавно и в то же время трагически он их всех дурачил! С каким невинным видом разыгрывал этакого крепкого здорового дикаря-мальчишку, даже щеголял жаргонными словечками и делал вид, что увлекается ненавистным спортом. Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии. Он, знаете, самый настоящий мальчишка – иными словами, ни единой мысли в голове, ни малейшего понятия о Великой Тайне.

– Здорово сегодня сыграли в регби, мама. Я им вклеил две штуки.

А наверху, у него в комнате, – томик Китса, ловко вытасченный из книжного шкафа.

Старые великаны-тополя, выстроившиеся в два ряда вдоль узкой речушки, то раскачивались и плясали под музыку зимних бурь, то шелестели на весеннем ветру, то высились недвижно в июльский зной, точно церковные шпили, бог весть почему оставленные про запас для невыстроенных храмов каким-нибудь средневековым зодчим. Ветви каштанов нависали над древними городскими стенами, такими толстыми, что по ним можно было гулять, как по дорожкам. В конце мая, после дождя, сладкий, чуть с кислинкой запах каштанов вливался в ноздри, в грудь, и асфальта не видно было под сплошным покровом белорозовых лепестков. Летом черепичные крыши старого города становились густо-оранжевыми и алыми, в крапинках лимонно-золотистого лишайника. Зимой по улицам струилась поземка и снег превращал мощенную булыжником базарную площадь в черно-белую мозаику. Звонким эхом отдавались шаги в опустевших улицах. И на башне XII века с ее забавным голландским куполом-луковкой лениво, не торопясь, били часы, которые уже для стольких поколений бесстрастно отмечали ход Времени.

Садовник сказал:

– Чудно, мистер Джордж: кролики и не пьют, да мочатся, а вот куры не мочатся, а ведь воду пьют.

Непостижимая загадка, удивительные прихоти провидения.

Подготовка к конфирмации.

– Придется пойти потолковать со старым Болтуном.

– А про что он говорит?

– Ох, он целый час читает нотацию, а потом спрашивает – может, ты знаешь какую-нибудь неприличность.

Церковь при колледже. Празднично одетые школьники, готовые к первому причастию. Сам директор в торжественном облачении поднимается на кафедру. Перешептыванье сменяется пугливой тишиной, и этот человек эффектно затягивает ее, молча ястребиным взором впиваясь в устремленные на него десятки пар робких детских глаз. Потом произносит – неторопливо, рассчитанно-сурово:

– Не позже чем через десять лет половина из вас *умрет*.

Мораль: приготовься предстать перед Господом и бойся неприличностей.

Но разве он знал, этот слепой пророк?

Может быть, сам Бог внушил этому величественному лицемеру такие слова?

Точно стервятник, пожирающий живые души, он, перегнувшись с церковной кафедры, терзал свои трепетные жертвы. Они стояли неподвижно, однако внутри у них все сжималось и корчилось, когда он разглагольствовал о карах за Грех и Порок и яркими красками живописал муки ада. Но разве он знал? Разве знал, через какой ад пройдут они еще прежде, чем истекут десять лет, разве знал, как скоро имена многих из них будут записаны на церковной стене? С каким удовольствием, должно быть, он сочинял эту надпись – в память тех, что, «не дрогнув, шли вперед и с гордостью отдали свою жизнь за короля и отечество!»

В Тайну входило и то, что называли пакостью и неприличием. От пакости сходишь с ума и попадаешь в сумасшедший дом. Или «заражаешься гнусным недугом», и у тебя отваливается нос.

Ох уж эта пошлость и суета безнравственного мира и все греховные соблазны и вожделения плоти. Стало быть, радоваться, когда смотришь на все вокруг или когда читаешь Китса, – столько же дурно и безнравственно, как пакостничать? Может быть, и от этого тоже сходишь с ума и у тебя вываливаются глаза?

– Вот от чего они несут яйца, – встряхивая кудрями, засмеялась девочка, когда петух вскочил на курицу.

Ужасная, нехорошая девочка, зачем ты говоришь мне такие неприличные пакости! Ты сойдешь с ума, и я сойду с ума, и у нас отвалятся носы. Ох, пожалуйста, не говори так, очень тебя прошу!

«От прелюбодеяния и прочих смертных грехов...» А что такое прелюбодеяние? Я сотворил прелюбодеяние? Может, это Божье слово для пакости? Почему мне не говорят, что это значит? Почему это – «самое мерзкое, что может совершить порядочный человек»? Когда раз ночью случилось *то самое*, это, наверно, и было прелюбодеяние. Я сойду с ума, и у меня отвалится нос.

Гимн номер... Пройдет еще несколько лет.

Какой я, наверно, грешный!

Может быть, есть две религии? Пройдет еще несколько лет, через каких-нибудь десять лет половины из вас не будет в живых. Пакость, отваливающийся нос, прелюбодеяние и другие смертные грехи. Своей святою кровью омой грехи мои, и стану чист. Кровь. Грех.

И – другая вера. Глоток старого вина, оно прохладное от долгих лет, проведенных в погребке, глубоко под землей, и у него аромат богини Флоры и зеленых полей, пляски, и провансальской песни, и смуглого веселья. Прислушиваешься, засыпая, к шуму ветра; смотришь, как голубые и оранжевые мотыльки вьются над душистым кустом лаванды; скинув одежду, тихонько погружаешься в глубокую, чистую, прохладную заводь среди скал, а серые чайки с криком мечутся вокруг выбеленных солнцем утесов, и запах моря и водорослей наполняет грудь; смотришь, как заходит солнце, – и пытаешься, подобно Китсу, записать, что при этом чувствуешь; поднимаешься спозаранку и катишь на велосипеде по белым безлюдным дорожкам; хочется быть одному и думать обо всем этом, и такое странное чувство охватывает – счастье, восторг... может быть, это – другая вера, другая религия? Или все это – пакость и грех? Лучше никому не говорить об этом, затаить это в себе. Если это – пакость и грех, я все равно ничего не могу поделать. Может быть, «Ромео и Джульетта» – тоже пакость? Это – в той книге, откуда мы делали выписки из «Короля Джона» для разбора на уроке английского языка. Словно белое чудо ловишь милую руку Джульетты и крадешь бессмертное благословение с ее губ...

Но куда больше, чем слова о мире, который тебя окружает, значит сам этот мир. Глядишь и не нагладишься, а потом хочется запечатлеть все, что видишь, – но по-своему, в каком-то ином порядке. На уроках рисования тебя заставляют смотреть на грязно-белый куб, цилиндр и конус, и ты чертишь и перечерчиваешь жесткие линии, каких не увидишь в природе. Но для себя стараешься уловить окраску предметов, и как один цвет незаметно переходит в другой, и как они складываются – или это ты сам их складываешь? – в чудесные узоры. Рисовать все, что видишь, оказалось даже увлекательней, чем узнавать, что думали об этом Китс и Шекспир. Все свои карманные деньги Джордж тратил на акварель и масляные краски, на кисти, бумагу и холст. Долгое время у него репродукций, по которым он мог бы чему-то научиться, и тех не было. Иллюстрации Крукшенка и Физа к Диккенсу его мало занимали; была у него еще репродукция Бугеро, которую он терпеть не мог; два рисунка Росетти, которые ему нравились; каталог галереи Тейта со множеством фотографий отвратительных картин Уотса и Фрэнка Дикси. Больше всего Джордж любил альбом цветных репродукций Тёрнеровых акварелей. Потом, однажды весной, Джордж Огест съездил с ним на несколько дней в Париж. «В образовательных целях» они посетили Лувр, и Джордж сразу влюбился в итальянцев, всей душой предался прерафаэлитам и восхищался примитивами. Вернувшись домой, он еще долго был как в лихорадке и не мог говорить ни о чем, кроме Лувра. Изабелла встревожилась: все это так несвойственно мальчишкам, так... право же, просто нездорово – это глупое помешательство на картинках, не годится часами сидеть, согнувшись над альбомами, вместо того чтобы погулять на свежем воздухе. Мальчику пристали более мужественные занятия. Не пора ли ему обзавестись ружьем и научиться стрелять дичь?

Итак, Джордж получил охотничье ружье, свидетельство – и осенью каждое утро отправлялся на охоту. Он убил несколько ржанок и лесного голубя. Потом в одно морозное ноябрьское утро он выстрелил в стайку ржанок, одну убил, а другую ранил, и она с горестным криком упала в ломкую, прихваченную морозом траву. «Если подбил птицу, возьми и сверни ей шею», – наставляли его. И он подобрал трепетный, бьющийся комочек перьев и, закрыв глаза, охваченный отвращением, попытался свернуть тонкую шею. Птица билась в его руках и пронзительно кричала. Джордж судорожно рванул – голова ржанки осталась у него в руке. Он был потрясен, этого не передать словами. Отбросив изувеченное тельце, весь дрожа, он кинулся домой. Никогда больше, нет, никогда, никогда в жизни он не убьет живое существо. Добросовестно, как его учили, он смазал ружье, убрал его подальше и уже никогда к нему не прикасался. По ночам его преследовал жалобный крик ржанки и страшное видение – обезглавленная, истекающая кровью птица. Он думал о ней целыми днями. Забывать о ней удавалось, только когда он шел писать красками мирные поля и деревья или пробовал делать карандашные наброски дома, в тиши своей комнаты. Глубже, чем когда-либо, затянула его живопись, и этим кончилась одна из многих попыток «сделать человеком» Джорджа Уинтерборна.

«Сделать из него человека» усердно старались и в школе, но почти столь же безуспешно, хотя и с помощью насилия.

– Наша цель, – внушал директор колледжа преисполненным почтения родителям, – воспитать мужественных, бравых ребят. Разумеется, мы готовим их к поступлению в университет, но наша гордость – выдающиеся спортивные успехи наших учеников. У нас существует Группа военного обучения, возглавляемая старшиной Брауном – ветераном Южноафриканской кампании, посты командиров в этой группе занимают специально обученные люди. Каждый ученик обязан пройти полугодовую подготовку – и тогда в случае надобности он сумеет с оружием в руках выступить на защиту отечества.

Родители вежливо бормотали что-то в знак одобрения; впрочем, иные нежные матери выражали надежду, что дисциплина в этой группе не чересчур строгая и «ружья не слишком тяжелы для неокрепших рук». Директор с изысканной презрительной любезностью их успокаивал. В подобных случаях он неизменно цитировал волнующие, воистину бессмертные стихи Киплинга с их заключительной строкой: «Тогда, мой сын, ты будешь человек». Ведь это так важно – научиться убивать. В самом деле, не умея убивать, никак не станешь человеком, а тем более – джентльменом.

«Группе военного обучения построиться в двенадцать часов в гимнастическом зале на ученье. Те, кто освобожден от строевых занятий, идут в четырнадцатую комнату на урок географии к мистеру Гоббсу».

Джорджу даже думать было противно о военном обучении – он и сам толком не понимал почему, но ему не хотелось учиться убивать и не хотелось стать «бравым, мужественным парнем». Кроме того, его возмущала необходимость вечно ходить по струнке. С какой стати подчиняться приказаниям «бравых, мужественных ребят», которых ненавидишь и презираешь? Что ж, много лет спустя один весьма достойный и бравый парень (всю войну прослуживший в разведывательном управлении военного министерства в отделе цензуры) так и сказал о Джордже: «Чего не хватает Уинтерборну – это дисциплины. Дисциплины. Он чересчур своеволен и независим. Армия сделает его Человеком». Увы, армия сделала его трупом. Но опять же, как всем нам хорошо известно, за высокую привилегию называться истинно мужественным, бравым парнем не жаль заплатить любой ценой.

Итак, Джордж, чувствуя себя безмерно виноватым, но и с безмерным отвращением в душе, улизнул на урок географии, вместо того чтобы построиться с другими в гимнастическом зале, как подобало будущему bravому парню. Через десять минут на пороге класса появился староста, юнец с весьма добродетельной, хотя и прыщавой физиономией.

– Капитан Джеймс вам кланяется, сэр, а Уинтерборна тут нет?

И Джордж поплелся в гимнастический зал за старостой – парнем с невинной, хотя и прыщавой физиономией, но, уж конечно, бравым и мужественным; по дороге староста сказал ему:

– Делал бы, что велят, трус паршивый, так нет же, надо ему, чтоб его притаскивали с позором. И на что это тебе?

Джордж не ответил. В эту минуту в нем все словно закаменело, упрямство и ненависть переполняли его. На строевых занятиях он был так неуклюж и так вяло скучлив (хотя на него без конца весьма мужественно орали и топали ногами), что после нескольких попыток вымуштровать его старшина Браун рад был отправить его заниматься географией. Просто он стал ненавидяще упрям и приказаниям подчинялся с угрюмой, ненавидяще упрямой покорностью. Не то чтобы он вовсе не повиновался, – но и не повиновался по-настоящему, внутри него ничто не покорилось. Он оставался вяло безразличным, и с ним ничего нельзя было поделать.

В этот семестр он переписал в наказание множество страниц из учебника и лишился многих драгоценных субботних часов, когда можно бы рисовать и писать красками и думать о чем угодно. Но скрытую в нем жизненную силу окружающим сломить не удалось. Она отступала в новое укрытие, воздвигая перед ними новые стены угрюмой ненависти и упрямства, но она оставалась цела и невредима. Пусть это все Грех и Пакость – если так, что ж, значит, он будет грешник и пакостник. Но он не желал, как другие, к каждому слову прибавлять «дерьмо» и вести похабные разговоры и яростно брыкался и вырывался, когда какой-нибудь прыщавый староста с невинной физиономией пытался облапить его и приставать с нежностями. Он этого не выносил. Тут он становился уже не просто ненавидяще

упрямым, на него нападало дикое, неистовое бешенство – после таких приступов его часами была дрожь, и он даже не мог удержать в руках перо. А посему старосты доложили старшим, что Уинтерборн «стал пакостником» и наносит вред своему здоровью, с ним «беседовали» классный наставник и сам директор колледжа – но остались бессильны перед этим ненавидяще упрямым молчанием и затаенным восторгом, росшим в душе мальчика оттого, что он – грешник и пакостник на свой лад, заодно с Китсом, Тёрнером и Шекспиром.

Старосты не однажды под разными предложениями задавали ему «дисциплинарную» трепку, но ни разу не выбили из него ни слезинки и, уж конечно, не сумели разбить стену, отделявшую его внутренний мир от их бравой мужественности.

За этот семестр он получил прескверные отметки и оставлен был на второй год. И, как положено, выслушал по этому поводу длинейшие выговоры и нотации. Подозревал ли изысканно любезный и свирепый директор, отчитывая стоящего перед ним школьника с замкнутым, упрямым лицом, что школьник вовсе не слушает, а повторяет про себя Китсову «Оду к соловью» – своего рода внутреннюю «декларацию независимости»? «Волшебные окна» – минуты, когда распахиваешь окно, чтобы послушать птиц на закате, или ночью поглядеть на звезды, или, едва проснувшись поутру, вдохнуть всю свежесть первых солнечных лучей и увидеть сверкающую листву.

– Если вы будете продолжать в том же духе, Уинтерборн, вы опозорите себя и своих родителей, свой класс и свою школу. Вы почти не проявляете интереса к школьной жизни, ваши «успехи» в спортивных играх ниже всякой критики. Капитан вашей команды докладывает, что вы за этот семестр десять раз уклонялись от участия в играх, а ваш классный наставник сообщает, что за вами числится еще свыше тысячи строк штрафных. Ваше поведение на военных занятиях в высшей степени позорно, недостойно мужчины, в нашем колледже никогда ничего подобного не бывало. Мне говорили также, что вы разрушаете свое здоровье тайными постыдными привычками, от чего я предостерегал вас – к сожалению, тщетно – в ту пору, когда пытался подготовить вас к первому причастию. Замечу кстати, что после конфирмации вы причащались только один раз, хотя прошло уже более полугода. Чем вы занимаетесь, когда убегаете домой вместо того, чтобы принять участие в играх, мне неизвестно. Но вряд ли это что-нибудь похвальное. («Волшебные окна, раскрытые в пену морскую».) Мне весьма тягостно будет просить ваших родителей забрать вас из нашей школы, но в стенах нашего учебного заведения мы не потерпим лодырей и трусов. Большинство, даже все ваши соученики – мужественные, brave ребята; и у вас перед глазами такой прекрасный пример – ваши старосты. Почему вы не стараетесь им подражать? Что за вздор у вас в голове? Довольно молчать, признайтесь мне во всем прямо и честно. Вы впутались в какую-нибудь скверную историю?

Никакого ответа.

– Чем вы занимаетесь в свободное время?

Никакого ответа.

– Ваше упорное молчание дает мне право подозревать худшее. Чем именно вы занимаетесь, я могу себе представить, но предпочитаю не говорить об этом вслух. Итак, в последний раз спрашиваю: будете вы говорить честно и мужественно? Скажете вы мне, чем вы так поглощены? Что мешает вам добросовестно относиться к ученью и спорту? Почему вы среди всех учеников выделяетесь своим угрюмым видом, упрямством и дурным поведением?

Никакого ответа.

– Что ж, хорошо. Получите двенадцать розог. Нагнитесь.

У Джорджа задрожали губы, но он не пролил ни слезинки и ни разу не охнул; потом так же молча повернулся к двери.

– Пойдите. Преклоните колена и вместе помолимся – да пойдет этот урок вам на пользу и да поможет побороть ваши дурные привычки. Вместе будем молить Господа, чтобы он смиловался над вами и сделал вас настоящим мужественным юношей.

И они молились.

Вернее, молился директор, а Джордж молчал. Он даже не сказал «аминь».

После этого в школе махнули на него рукой и предоставили ему делать что хочет. Считалось, что Уинтерборн не только упрямец и трус, но еще и тупица – ну и пусть его прозябает где-то там в параллельном пятом для отсталых. Быть может, из того небольшого, чему могла научить школа, он усвоил гораздо больше, чем подозревали учителя. Но все время, пока этот молчаливый мальчик с бледным, хмурым лицом машинально тянул изо дня в день школьную лямку, слонялся по коридорам, брел на уроки то в один класс, то в другой, в нем совершалась напряженная внутренняя работа: он деятельно строил свой отдельный мир. С яростью, как голодный – на хлеб, Джордж набросился на отцовские книги. Однажды он показал мне в старом блокноте список книг, прочитанных им к шестнадцати годам. Помимо всего прочего, он проглотил чуть ли не всех поэтов, начиная с Чосера. Впрочем, важно не то, сколько он читал, но – как читал. В целом свете не было человека, которому он мог бы довериться, рассказать все, что наболело в душе, спросить обо всем, что хотелось узнать, – и поневоле он снова и снова обращался к книгам. Английские поэты и иноземные живописцы были его единственными друзьями. Они одни объясняли ему Тайну красоты, они одни защищали ту скрытую в нем жизненную силу, которую он, сам того не подозревая, яростно отстаивал. Неудивительно, что вся школа ополчилась на него. Ведь ее задачей было фабриковать «бравых, мужественных ребят» – совершенно определенный тип молодых людей, которые с готовностью принимают все установленные предрассудки, весь навязываемый им «нравственный кодекс» и покорно подчиняются определенным правилам поведения. А Джордж молчаливо добивался права думать самостоятельно и, главное, быть самим собой. «Другие» (которых ставили ему в пример) были, возможно, и неплохие ребята, но начисто лишены собственного «я», а потому они и не могли быть «самими собой» – этой искры Божией им не дано. То, что для Джорджа было поистине *cor cordium*¹⁴ жизни, для них не имело значения, они этого попросту не замечали. Они были здоровыми дикарями и ни к чему иному не стремились, им только и надо было заслужить похвалу старших да исподтишка предаваться кое-каким мелким пакостям, а кончали они приличным положением где-нибудь, где по достоинству ценят «бравых, мужественных ребят», – чаще всего, если уж говорить начистоту, на какой-нибудь незначительной, не слишком приятной и неважно оплачиваемой службе в какой-нибудь гиблой дыре в колониях, где непременно схватишь тропическую лихорадку. Такие brave ребята – стеновой хребет Империи. Джордж, хоть он тогда этого и не понимал, ничуть не стремился заделаться частицей этого самого, черт бы его драл, стенового хребта Империи, а тем более – частицей ее зада, обязанного получать пинки. Нет, Джордж был совсем не прочь попасть в ад и опозорить себя и своих родителей, свой класс и свою школу, лишь бы попасть в ад своей дорогой. Вот этого-то они и не могли вынести – этого упорного, молчаливого нежелания разделить их предрассудки, их обывательскую мораль – мораль тех мелких провинциальных джентльменов, которые и составляют заднюю часть Империи, неизменно получающую пинки. Они изводили Джорджа, всячески шпыняли его, запугивали дурацкими баснями о «пакости» и об отваливающих носсах; и все-таки они его не одолели. И мне очень жаль, что его замучили и затравили те две бабы. Мне очень жаль, что он подставил себя под огонь пулемета всего за неделю до того, как кончилась эта трижды клятая война. Ведь он столько лет так храбро сражался со свиньями (я имею в виду

¹⁴ Наиважнейшим (*лат.*).

наших британских свиней). Ему бы продержаться еще совсем немного, и вернуться, и сделать все, что он так хотел сделать! А он мог бы многое сделать, мог бы добиться своего, – и тогда бы даже пресловутая школа стала перед ним угодничать. Ах, дурень! Неужели он не понимал, что у нас только один долг – продержаться и стереть в порошок этих свиней?

Только раз, один только раз он едва не выдал себя школе. К концу экзаменов вдруг спохватились и предложили ученикам написать сочинение. Одна из тем была «Чему ты хочешь посвятить свою жизнь?». Страсть, владевшая Джорджем, взяла верх над осторожностью, и он сочинил чуть ли не поэму, необдуманную, восторженную и нелепую мальчишескую декларацию, выложил всю свою необъятную жизненную программу – от кругосветного путешествия до занятий астрономией, – а высшей целью и венцом всего была, разумеется, его любимая живопись. Понятно, он не удостоился не только первой награды, но даже беглой похвалы. Зато, к его немалому изумлению, в последний день семестра, когда школьники шли вечером в церковь, директор подошел к нему, обнял за плечи и, указывая на планету Венеру, спросил:

– Знаешь ли ты, какая это звезда, мой мальчик?

– Нет, сэр.

– Это Сириус, гигантское солнце, нас отделяют от него многие миллионы миль.

– Да, сэр.

Больше говорить было не о чем. Директор снял руку с плеч Джорджа, и они вошли в церковь. Последним спели гимн «Вперед, Христово воинство», так как десять человек из числа выпускников, окончив колледж, поступали в Сандхерстское военное училище.

Во время службы Джордж стоял столбом, не раскрывая рта.

Летние каникулы – единственное время, когда он бывал по-настоящему счастлив.

За Мартинс Пойнтом, подальше от моря, тянутся скупые, бесплодные земли. Но, как у любой непромышленной части Англии, у этого края свой характер: он застенчив, словно почтенная старушка в серебряных сединах, – она держится так мягко, ненавязчиво, но в конце концов ей нельзя не подчиниться. Здесь обрывается одна из длинных гряд меловых холмов, по правую и левую руку от нее лежат солончаки, а плодоносные земли начинаются гораздо дальше от побережья – так далеко, что Джордж даже на велосипеде туда не добирался. Каждая мелочь в отдельности здесь как будто скучна и бесцветна. С вершины какого-нибудь мелового холма весь этот край кажется очень древним, серебристо-седым, на пологих склонах раскинулись однообразные, без единого деревца поля, словно едва намеченные клетки огромной шахматной доски, а вдалеке серебристо-седой каймою всегда виднеется море. Нескончаемые меловые холмы вздымаются гряда за грядой, точно окаменевшая гигантская зыбь неведомого океана. Чем ближе к берегу, тем эти гряды выше, круче, и, наконец, почти отвесно встает серебристо-седая меловая стена, точно исполинский вал с гребнем окаменевшей пены, навеки недвижный, навеки немой; а у его подножья вечно плещут карликовые по сравнению с ним волны настоящего неугомонного и говорливого моря. Трава на холмах обглодана овцами и ветром, и несмело цветут в ней карликовые кукушкины слезки, лиловый гелиотроп, высокая лохматая черноголовка и хрупкие колокольчики. А в ложбинах растет наперстянка и высоченный чертополох. В иных укромных уголках – сплошной ковер алого клевера и ромашек, на диво щедрые россыпи полевых цветов. Летом эти цветочные островки, точно бесценный подарок, далеко видны среди бесплодной пустыни, и над ними – непрестанный трепет крыльев: каких только бабочек здесь не увидишь! Мраморно-белые, небесно-голубые и темно-синие, бархатисто-коричневые и лимонные, сверкающие медью аргусы и ярко-красные адмиралы, репейницы и павлиний глаз – все это кружило над крапивой и чертополохом, опускалось на цветы, трепе-

тало и взмахивало яркими узорчатыми крыльями. Было одно такое поле, где в августе всегда вилось много огневок – они то описывали короткую дугу, то неожиданными зигзагами проносились над алым клевером, по которому под ветром пробегала рябь, словно по морю.

Но, несмотря на эти яркие мазки, все равно казалось, будто все вокруг серебристо-седое. Кусты боярышника и редкие одиночки-деревья навек согнулись под напором юго-западного ветра. Деревушки и фермы ютились в ложбинах, прятались от бурь за стеною могучих вязов. Деревушки эти, скромные, неприхотливые, чужды были всякой фальши и искусственности, как сама жизнь их обитателей – пастухов и пахарей. Каких-нибудь три, пять, от силы десять миль лежали между ними и вычурной роскошью Мартинс Пойнта, а казалось, их разделяет миль триста – так чужды, так далеки были от этой простой, безыскусственной жизни и гольф, и светские пересуды за чашкой чая, и даже автомобили, которых день ото дня становилось все больше. Там же, в низинах, прятались сложенные из камня невысокие церкви, построенные еще древними норманнами, тоже скромные и безыскусственные, несмотря на портики, щедро украшенные готическим орнаментом, и фронтоны в византийском духе, и стилизованные насмешливые головы, что ухмыляются, и скалят зубы, и гримасничают с фризом. Должно быть, жестокий и насмешливый народ были эти норманны-завоеватели, – жестокие и насмешливые лица иных из их потомков можно и поныне увидеть на стенах Темпла. Должно быть, с такой вот жестокой, насмешливой улыбкой они рукою в железной перчатке гнули и давили саксонских пастухов. И даже их благочестие было жестоким и насмешливым, насколько можно судить по каменным насмешливым церквушкам, какие они понастроили по всей стране. А потом они, должно быть, двинулись на запад, к более плодородным землям, предоставив эти голые холмы и скудные поля потомкам поработанных саксов. И край этот кажется старым-престарым; но нечто от насмешливой жестокости древних норманнов сохранилось лишь кое-где, в неприметных уголках построенных ими церквей, – все остальное понемногу смягчилось, окрасилось в мягкие, серебристые тона, точно ласковая и кроткая старая дама в серебряных сединах.

Все это карандашом и красками силился выразить Джордж. Он старался впитать особый, неповторимый дух этого края – и в какой-то мере ему это удалось. Он все перепробовал – от больших пейзажей, где старался вместить всю эту волнистую ширь, эти меловые холмы, разбежавшиеся на двадцать миль, с серебристой каймой моря вдали, и до маленьких, фотографически точных копий резьбы на церковной двери или кропотливо, почти с научной добросовестностью срисованных крыльев бабочки и лепестков цветка. Для живописца он всегда был излишне «буквален», «топографичен», его чересчур занимали мельчайшие подробности. Он видел поэзию природы, но не умел передать ее в линиях и красках. Школа английских пейзажистов 1770–1840 годов отжила свое задолго до того, как тело Тёрнера перенесли в собор Св. Павла, а деньги, которые он оставил нуждающимся художникам, перешли в карманы алчных английских адвокатов. Вдохновение потонуло в добросовестном выписывании каждой мелочи, в чувствительной красивости. Живопись утратила ту жизненную силу, ту неутомимую энергию, что чувствуется в лучших полотнах таких художников, как Фриз, Вламинк, даже Утрилло, которые умели открыть поэзию в гнущихся на ветру деревьях, или в белом крестьянском домишке, или в каком-нибудь кабачке на парижской окраине. Джордж уже в пятнадцать лет знал, что он хочет сказать своими картинами, – но не умел это сказать. Он умел ценить это в других, но самому ему не хватало выразительности.

До той поры он был совсем одинок в своей слепой, бессознательной борьбе – в отчаянном сопротивлении силе, которая старалась смять его и втиснуть в готовую форму, одинок в жадных поисках жизни, живой, настоящей жизни, искру которой он ощущал в душе. Но теперь он начал обретать неожиданных союзников; сначала недоверчиво, потом с огромной

радостью он убеждался, что он не один в мире, что есть и еще люди, которым дорого то же, что дорого ему. Он узнал, что такое мужская дружба и прикосновение девичьих рук и губ.

Первым появился Барнэби Слэш – в ту пору «известнейший романист», очень угодивший болезненно-идиотическому британскому вкусу своим примитивно христианским и весьма нравоучительным романом, – роман этот наделал немало шума и разошелся в миллионах экземпляров, а ныне прочно забыт, и высохшая мумия его сохранилась, быть может, только в издании Таухница – в этом склепе книг, которые никто не читает. Мистер Слэш был не дурак выпить, и дешевая слава доставляла ему великое удовольствие. Все же изредка ему случалось поглядеть вокруг; он не был, как большинство буржуа – обитателей Мартинс Пойнта, – вконец ослеплен предрассудками и откровенным тупоумием. Он заметил Джорджа, посмеялся кое-каким его дерзким, но неглупым словечкам, за которые мальчику дома неизменно попадало, заинтересовался его страстью к живописи и упорством, с каким Джордж ей отдавался.

– В вашем мальчике что-то есть, миссис Уинтерборн. Он знает, чего хочет. Мир еще услышит о нем.

– Вы так думаете, мистер Слэш? – Изабелла была польщена и в то же время обозлилась: ее ужасала и приводила в ярость одна мысль о том, что сын может чего-то хотеть, к чему-то стремиться. – Мой Джордж просто здоровый, счастливый мальчик, и он думает только о том, чтобы радовать свою мамочку.

– Гм-м, – промычал мистер Слэш. – Ну, во всяком случае, мне хотелось бы что-нибудь для него сделать. В нем заложено больше, чем вам кажется. Я уверен, в душе он художник.

– Еще чего! – воскликнула Изабелла со злостью. – Заведись в нем такая дурь, уж я бы ее выбила из него, сил бы не пожалела!

Слэш понял, что, желая Джорджу добра, может только повредить ему, и тактично умолк. Все же он дал мальчику несколько книг и пытался поговорить с ним по душам. Но Джордж в ту пору мало доверял взрослым, да еще таким, что приходили по вечерам в гости и пили виски с Джорджем Огестом и Изабеллой. Притом в глазах Джорджа, с его суровой мальчишеской нетерпимостью, безвольный, вечно подвыпивший добряк Слэш был слишком жалкой и непривлекательной фигурой – и сблизиться они не смогли. Но все же мистер Слэш сыграл немаловажную роль: благодаря ему Джордж позднее сумел быть в какой-то мере откровенным с другими людьми. Слэш разбил первую из крепостных стен, за которыми Джордж укрывался от мира. Опасаясь, как бы Слэш не повлиял на Джорджа в неугодном ей смысле, Изабелла очень забавным и хитроумным способом от него избавилась. Однажды Джордж Огест и мистер Слэш вместе отправились на обед, устроенный масонской ложей. С тех пор как масонство сослужило свою службу, укрепив положение Джорджа Огеста в обществе, Изабелла стала относиться к нему весьма ревниво: ведь Джордж Огест благородно отказывался раскрыть жене тайны вольных каменщиков – убогие тайны! – а потому она ненавидела их собрания и обеды лютой ненавистью. В тот вечер налетела страшная гроза, каких не запомнят старожилы здешних мест. Шесть часов кряду полыхало небо, ослепительные стрелы молний с трех сторон вонзались в море и в сушу; раскаты грома непрерывно гремели над Мартинс Пойнтом, и оглушительным эхом отзывались утесы; ливень, обезумев, плясал по крышам, ломился в окна; крутые дороги на склонах холмов превратились в бурные потоки. Не было никакой возможности вернуться домой, и Джордж Огест со Слэшем просидели в гостинице почти до четырех часов, тем временем изрядно выпили и приехали домой под утро, сонные, но веселые. Изабелла не ложилась всю ночь; она встретила супруга с видом разгневанной королевы из какой-нибудь трагедии и разразилась упреками и обвинениями.

– Подумать только, бедняжка миссис Слэш дрожит где-то там одна на заброшенной ферме, я тут с детьми умираю от страха, а наши милые мужья напиваются, как свиньи, до потери сознания... – и так далее в том же духе.

Несчастный Джордж Огест робко попробовал что-то вымолвить в свое оправдание, но где там... Назавтра мистер Слэш в простоте душевной явился узнать, не наделала ли буря бед, но его обругали и, к величайшему его изумлению и негодованию, попросту указали ему на дверь. Он позволил себе маленькую месть, а именно «вывел» Изабеллу в своем очередном романе, но, как и пообещала Изабелла, ноги его больше не было в ее доме.

Джордж любил эти пустынные холмы и хмурое море, но и ненавидел их. Вырваться подальше от побережья, туда, где все зелено, все цветет, – это было освобождение, счастье, тем более драгоценное, что оно выпадало так редко. Когда Джордж был еще малышом, девушка-прислуга однажды взяла его с собой в деревню, на сбор хмеля. У него сохранились об этом дне смутные, причудливые воспоминания. Он не мог забыть, как все вокруг было пронизано солнечным светом и как они ехали на лошадях нескончаемой пыльной дорогой; запомнилась остро пахнущая хмелем тень высоко переплетающихся лоз, и восторг, когда старшой перерезал веревки и масса зелени с шорохом и шелестом рушилась наземь, и как ласковы были с ним, малышом, грубые крестьянки, собиравшие хмель, как угощали его чаем, который припахивал дымком, и как вкусны были и этот чай, и тяжелая, промасленная лепешка!

Позднее, когда ему было лет четырнадцать – шестнадцать, огромной радостью бывали поездки к Хэмблам. Семья эта жила в глуши, в уединенном домике среди цветущих лугов и тенистых лесов. Сам мистер Хэмбл, отставной адвокат, рослый и веснушчатый, был большой знаток ботаники, с увлечением коллекционировал насекомых – и этим совершенно покорила Джорджа. Но всего чудесней был сам этот цветущий край – и Присцилла. Дочь Хэмблов была ровесницей Джорджа, и между ними возникло странное чувство – и ребяческое и пылкое. Присцилла была золотоволосая и очень хорошенькая, даже чересчур, и потому то робела и смущалась, то начинала кокетничать. Но этих двух детей влекла друг к другу самая настоящая, неподдельная страсть. Жаль, что наши гнусные предрассудки отказывают этой страсти – страсти Дафниса и Хлои – в праве на естественное проявление. И Джордж, и Присцилла всегда были словно бы немного разочарованными, ущемленными, потому что навязанная им робость и ложная стыдливость не позволяли их чувству выразиться свободно и естественно. Долгих три года Джорджем владела эта страсть, в сущности, он никогда не забывал Присциллу и всегда в нем жило смутное, глухое, неосознанное разочарование. Как и всякая страсть, чувство его и Присциллы было недолговечным, оно возникло в определенную пору их жизни и с нею миновало бы, но плохо, что оно осталось неутоленным. Жаль еще, что детей так часто разлучали, – тогда завязывалась нескончаемая переписка, и это приучило Джорджа слишком много рассуждать в любовных делах и слишком идеализировать женщин. Но когда они с Присциллой бывали вместе, они были счастливы бесконечно. Присцилла в роли маленькой любовницы была так очаровательно серьезна. Они играли с другими детьми, ходили к ручью удить рыбу, собирали на заливных лугах огромные букеты цветов, отыскивали в живых изгородях птичьи гнезда. Это и само по себе весело, но много веселей было оттого, что рядом Присцилла, и они держались за руки и целовались, и все это с глубокой серьезностью, как самые настоящие влюбленные. Иногда Джордж, осмелев, касался ее полудетской груди. И ощущения тех дней сохранились навсегда: дружеское пожатие рук Присциллы, радость быстрых детских ее поцелуев и легкого дыхания, тепло и упругость нежной, едва набухающей груди; воспоминание о Присцилле было как душистый сад. Точно заглохший сад, она была чуточку старомодна и застенчиво мила, но вся дышала родниковой свежестью и золотом солнечных лучей. И она была, может быть, самым главным в жизни

Джорджа. Ее он мог любить без оглядки, хотя бы всего лишь сентиментальной отроческой любовью. Но это было бы не так уж важно и все равно прошло бы со временем, – Присцилла дала ему больше: благодаря ей он, став взрослым, мог полюбить женщину; Присцилла спасла его от гомосексуализма, к которому втайне, даже не сознавая этого, склонны очень многие англичане, – потому-то их не удовлетворяет и не радует близость жен и любовниц. Сама того не ведая, Присцилла открыла Джорджу неисчерпаемые, тончайшие радости, которые дарит нежное, всегда готовое тебе ответить тело подруги. Даже тогда, почти мальчиком, он ощущал, как чудесно, что они такие разные, – его крепкие и чуткие мужские руки и ее нежные, набухающие груди, точно едва раскрывшиеся цветы, которых касаешься так легко, так бережно. И еще он узнал благодаря Присцилле, что лучшая любовь – та, с которой скоро расстаешься, которая никогда не ошестинивается шипами ненависти, но тихо уходит в прошлое, оставляя не болезненные уколы, а только душистый аромат сожаления. У него сохранилось не так уж много воспоминаний о Присцилле, но все они были словно розы в старом саду...

Как видите, если в душе есть искра, окружающим не убить ее никакими запугиваниями, правилами, предрассудками, никакими стараниями «сделать из тебя человека»! Ведь сами они, разумеется, не люди, а просто куклы, марионетки, порождение существующей системы – если эту мерзость можно назвать системой. Настоящие, мужественные люди – те, в ком есть искра живого огня и кто не позволяет загасить ее в себе; те, кто знает, что истинные ценности – это ценности живые и жизненные, а не фунты, шиллинги и пенсы, выгодная служба и роль зада-империи-получающего-пинки. Джордж уже нашел подобие союзника в лице злополучного Слаша, и чудесную детскую страсть принесла ему Присцилла. Но ему нужны были еще и друзья-мужчины, и ему посчастливилось их найти. Как оценить, сколь многим он обязан Дадли Поллаку и Дональду и Тому Конингтонам?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.